

ЛИТЕРА- ТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ



До и
После



№ 9



Берлин • 2005

Литературный альманах

До
и
После

№ 9



НАТ|КОВА

БЕРЛИН 2005



Руководитель проекта
Иосиф Варди

Редакционная коллегия:
Леонид Бердичевский (гл. редактор)
Марлен Глинкин (проза)
Генриетта Ляховицкая (поэзия)
Альфред Ходорковский (публицистика)
Давид Яновский (переводы)

Общественный совет:
Карл Абрагам
Екатерина Гескина
Марк Шейнбаум

В оформлении обложки
использованы работы
Иссахара Бер Рыбака

Все произведения, представленные
в альманахе, опубликованы впервые

Права авторов сохранены
При перепечатке ссылка на альманах обязательна

ISBN 5-891-39-03

Берлин 2005

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Карл Абрагам
Марина Авербух
Дмитрий Белялов
Леонид Бердичевский
Григорий Вахлис
Михаил Верник
Нора Гайдукова
Марлен Глинкин
Наталья Горбатюк
Виктор Гордеев
Евгений Денисов
Феликс Зигельбаум
Маргарита Их
Михаил Левин
Семён Лурье
Станислав Львович
Генриетта Ляховицкая
Валерий Матэцкий
Анна Мелихова
Олег Никогосян
Анжелла Подольская
Ася Процко
Любовь Рейнгач
Кирилл Романовский
Михаил Хасин
Георгий Хлусевич
Альфред Ходорковский
Марк Шейнбаум
Генрих Шмеркин
Михаил Эненштейн
Давид Яновский

ХРОНИКА СЕМЬИ ОЛДЕНХАУЭР

Весна в этом году как-то незаметно прокралась в город. Стоял апрель. Берёзовые почки ещё не очнулись от зимней дремы. Студёный ветер поднимал вихри пыли, подбирая за собой мелкий уличный мусор. Каменная крошка, рассыпанная по зимним тротуарам, ещё не была убрана. Озабоченный в поисках пищи грач неторопливо выхаживал по дороге. Лишь редкие клочки зелёной травы, торчащие из-под прошлогодней листвы, да первые, ещё хилые подснежники, притаившиеся за палисадниками, говорили об одном: скоро!

Скверная погода никак не сказывалась на моём настроении. Напротив, я шёл на свидание и походил на пса, сделавшего стойку и взявшего след. Познакомились мы тремя днями раньше. Когда я узнал, что она из России да к тому же говорит по-русски, мы договорились о встрече: „Приходите, буду рада вас видеть“.

Нетерпение подгоняло и придавало мне силы. Я догадывался, что через несколько минут услышу увлекательную историю целой семьи, корни которой уходят в Россию конца XIX века. В руках у меня свежие розы, в сумке – коробка конфет и бутылка вина. Хозяйка открыла сама, затем проводила в гостиную.

Она плохо видит. А потому ходит с тележкой, чтобы не упасть, толкая её впереди себя. А вообще-то она ещё очень крепкая для своих лет. Ежедневно, в любую погоду она изнуряет себя на балконе сорокаминутной зарядкой, которую заканчивает „ласточкой“. Домработница рассказывает, что ещё совсем недавно, лет пять тому назад, её хозяйка делала „шпагат“.

Героиню моего повествования зовут Ириной Генриховной Олденхауэр. Она относится к той редкой породе пожилых людей, назвать которых старушкой или бабушкой язык не повернется. Худощавая, подтянутая, негромкая, она безукоризненно одета: чёрный английского покроя костюм, небесного цвета блузка и тёмносиний мужской галстук с дорогой заколкой. Взгляд живой, заинтересованный, держится с большим достоинством, в суждениях сдержана и в то же время доброжелательна. Говорит одинаково хорошо по-русски и по-немецки.

„Знаете что, давайте наше знакомство как-то отмстим“. Она поднялась и, забыв о тележке, прошла к холодильнику и достала бутылку шампанского. „Открывайте!“ Затем ушла в другую комнату, достала из серванта пару бокалов и печенье. „Разлейте, пожалуйста“. И никакого жеманства: „Мне чуть-чуть, я ведь не пью“ или что-то другое в

этом роде. Я налил ей и себе поровну и мы чокнулись. Картина нашего свидания была бы неполной, если бы я не приправил эту сцену сумерками, зажжёнными свечами и настраивающей на меланхолический лад тихой музыкой. Но чего не было, того не было...Видно, что она рада встрече, встрече с земляком, урождённым берлинцем, прожившем почти шестьдесят лет в Советском Союзе и вернувшемся на родину. Она хоть и живёт в большом городе, но, по-видимому, очень одинока. Пожилые люди живут воспоминаниями о прошлом. Её воспоминания там, в России, и по-настоящему понять её может только русский. Она рада возможности „выплеснуть“ пережитое русскому человеку на родном ей языке.

„Я родилась в Москве в 1907 году в семье архитектора. Мой отец, Генрих Олденхауэр, приехал в Москву в середине восьмидесятых, чтобы принять участие в проектировании ГУМ'а. Моя мама, Йоханна Делос, - из немцев Поволжья. В семье было шестеро детей: три мальчика и три девочки. Я – самая младшая из них. В доме говорили по-русски. Дети посещали гимназию Петра и Павла. Домашняя библиотека состояла в основном из русских книг: Тургенев, Чехов, Толстой. Многие мы забрали потом с собой в Германию. Маленькой я читала книги, рассчитанные на подростков. Помню, „Институтка“ (автора забыла) и „Ясное солнышко“ Клавдии Лукашевич, которая, между прочим, была с мамой в близком родстве.

Как только началась Первая мировая война, в нашей московской квартире начались обыски. Старшего брата, Рудольфа, сослали в Башкирию, в Стерлитамак: он достиг призывного возраста и был сыном немецкого подданного. Отцу с двумя дочерьми, Леной и Валентиной, разрешили покинуть Россию и уехать в Германию. А мы с мамой, двумя братьями и собакой „Мушкой“ подались в Саратов, где генерал-губернатором служил мой двоюродный дядя. Там нас не трогали. Русский паспорт мамы надёжно защищал семью от неприятностей. Мне было 10, когда я впервые услышала в доме слово „революция“. Помню баррикады и уличные бои между юнкерами и рабочими. После установления Советской власти дядю расстреляли. Оставшись без опеки, мы решили уехать следом за папой в Германию. Но пока шла война, это было невозможно. В городе было тревожно. Большевики устраивали обыски в домах состоятельных людей, но к нам не приходили. Позднее я поняла, что Советы, стремясь к заключению сепаратного мира с Германией, немного заигрывали с немцами. Где-то в середине лета 1918 года, после заключения Брестского мира, нам удалось бежать из России, страны, где уже полыхала гражданская война. Наконец, в конце сентября мы приехали в город Найсе, что в Верхней Силезии. Когда-то это был немецкий город, теперь - польский. Мой брат Рудольф приехал в Германию последним из нашей семьи.

В Германии я окончила гимназию и в 1929 году вышла замуж за врача-радиолога Фрица Зонненшайна. К тому времени мы уже жили в Берлине. Мой муж был на 17 лет старше меня. Я работала рентген-лаборантом в том же институте, что и он. Там и познакомились. После войны и почти до конца своей жизни он был главным врачом берлинской неотложки. Я родила ему трёх девочек. Все они, слава Богу, живы-здоровы. Старшая живёт во Франции, а две других – здесь, в Берлине. Прежде мы жили в Шёнеберге на Мартин-Лютер-Штрассе, где у нас было 11 комнат. И лишь к концу жизни мой муж купил для меня вот этот маленький домик. Здесь мы прожили вместе около двух лет. Он умер в 1971 году в возрасте восьмидесяти одного года. Первое время я сильно горевала. Хотела за ним уйти. Перестала принимать таблетки от давления. Думала, что Господь услышит меня и скорее призовет к себе. Но ничего такого не случилось. Прошло больше 30 лет после кончины мужа. Я до сих пор ничего не принимаю и вот, как видите“...Она развела руками, словно извиняясь, что так долго живёт.

Я разлил по второму разу. В этот раз моя собеседница голько пригубила.

„Скажите, а как сложилась судьба ваших братьев и сестёр?“

„Сестёры, как вы уже знаете, с началом Первой мировой войны уехали с отцом в Германию. В начале двадцатых годов они вышли замуж за русских прапорщиков, которые оказались у немцев в плену. Офицеры содержались в лагерях для интернированных. В одном из них находились мои будущие зятья. Обоих звали Иванами. После окончания войны лагеря стали расформировывать. Офицеров по очереди отправляли домой, на родину. Всех сразу отправить не могли. Поэтому, кому ехать, решал жребий. Кому не повезло, те огорчались: им предстояло ждать до следующего раза. Что до „счастливиц“, то они уезжали, и больше о них никто никогда не слышал: после пересечения русской границы их на первой же станции большевики расстреливали. Так и осели оба Ивана в Германии. Говорить как следует по-немецки они так и не научились, но заработать себе на хлеб могли. И тот, и другой работали по коммерческой части: Ваня Содомов, женатый на Лсене, неплохо знал бухгалтерское дело, а Иван Куприянов, муж Валентины, работал налоговым консультантом. Они обслуживали в основном русскоязычных клиентов. Войну Гитлера против России восприняли со смешанными чувствами: с одной стороны они ненавидели большевиков, отнявших у них родину, с другой - как русские офицеры переживали за своё отечество, оказавшись против своей воли в стане неприятеля.

Вильгельм, самый младший из моих братьев, умер довольно рано. Старший, Рудольф, женился потом на его вдове. Сам Рудольф перепробовал массу специальностей. Он занимался языками, философией, конструированием каких-то машин и ещё там, в России, выступал на под-

мостках Мурманского драмтеатра. Не гоже говорить, но у него никогда не было постоянной работы и гарантированного заработка. Средний из братьев, Александр (мы его называли Шурой), в середине 20-х годов женился на еврейке. Детей они почему-то иметь не хотели. Но когда в 1935 году были приняты „Нюрнбергские законы“, запрещавшие браки между немцами и евреями, они назло Гитлеру родили двух девочек. Семья пережила Холокост и только после войны уехала в Америку, где мои племянницы живут по сей день.

Конец войны застал нас в Тюрингии. Там и встретили русских. По отношению к нашей семье они вели себя подчеркнуто корректно. Конечно, мы боялись прихода советских частей: геббельсовская пропаганда приводила в ужас гражданское население, рассказывая о якобы имевших место зверствах, убийствах и издевательствах русских в Восточной Пруссии. Я знаю случаи самоубийств целых семей, которые в ожидании русских предпочли мучениям добровольный уход из жизни. В соседнем селе муж и жена сожгли себя в доме вместе с хозяйственными постройками и со скотиной. Но к нам русские, повторяю, отнеслись вполне лояльно. Мы быстро подружились. С удовольствием вспоминаю их задушевные русские песни по вечерам. А как они плясали!

Мои сёстры, Лена и Валя, работали в русской комендатуре переводчицами, зарабатывая себе таким образом на жизнь. Лена как-то хотела рассказать мне, что сразу после падения Берлина её пытались изнасиловать. Но я прервала тогда этот разговор: мне было неприятно, что родная сестра так „обнажается“ передо мной. Моя дочь, Верена, была очень близка с Леной и знает об этом подробно“.

Я заметил, что моя собеседница устала, и попросил её ещё об одной встрече. Она охотно согласилась: „Приходите с супругой. Извините, что так скромно в этот раз; в следующий раз я приготовлю настоящий русский чай с баранками“. Перед уходом я подарил фрау Олденхауер книгу о моей жизни в России. Она поблагодарила: „Вот хорошо, придёт Люда и почитает мне. Я ведь сама читать уже не могу: не вижу. Люда

русская; она приходит ко мне два раза в неделю. Мы гуляем, общаемся и говорим только по-русски“.

*

*

*

Мы встретились с Вереной в одном из уютных кафе Шарлоттенбурга. Дочь похожа на маму: такая же стройная, чуть повыше ростом. Волосы прямые, аккуратно зачёсанные назад. Взгляд несколько настороженный. Одета просто: длинное в пол платье и лёгкая курточка. Никаких украшений, никакого намёка на косметику. Мы заказали кофе и пирожные. Вначале разговор не клеился. Постепенно напряжение спало и Верена сообщила, что мама по её мнению очень слаба, чтобы как следует ухаживать за собой. Она хотела бы мать устроить в дом престарелых,

поближе к себе, чтобы чаще навещать её. Но мама об этом даже слышать не хочет: „Оттуда одна дорога, а я ещё пожить хочу!“ Я рассказал Верене о своём впечатлении о фрау Олденхауер, о её удивительной памяти. И добавил, что мама была со мной очень откровенна. Правда, об одной истории мама умолчала. „Что же это за история?“ - спросила она. - „Мы говорили о поведении русских в Германии, о том, как они вели себя в отношении мирного населения“. Верена перебила: „А верно ли, что Сталин издал приказ, по которому русские могли делать с немцами на их территории всё, что им вздумается?“ „Такого приказа не было и быть не могло; в противном случае диктатор скомпрометировал бы себя перед всем миром и, прежде всего, перед союзниками. Было негласное распоряжение, по которому каждый солдат, каждый военнослужащий имел право раз в месяц посылать домой одну посылку. Это, если хотите, карт-бланш на мародёрство“. - „Так о чём же вы хотели узнать?“ - „Если можно, расскажите о тётке Лене. Как случилось, что её чуть не изнасиловали? Мне кажется, что знание русского языка могло её спасти“. И Верена рассказала то, что запомнила.

„В то утро я пришла к тётке пораньше, чтобы перед приходом гостей успеть её искупать. Это был её последний день рождения. Она была очень слаба и с трудом говорила. Я вымыла тётю, покормила и усадила в кресло-каталку. До прихода гостей оставалось часа два. Мы поговорили о разных пустяках, а потом она сказала: „Веруня, ты помнишь, когда-то ты попросила меня рассказать о самом страшном унижении в моей жизни. Но я не решалась это сделать, - стыдно было. Но теперь, когда я ухожу из жизни, я решила рассказать тебе эту историю.“

Тебе было восемь, когда кончилась война. Вы жили в то время в Тюрингии, и русские вели себя в отношении вашей семьи вполне прилично. В Берлине всё было иначе. Опьянённые победой, русские вели себя безобразно: грабили, убивали, насиловали, занимались мародёрством. Не все, конечно, но многие, особенно сразу после окончания войны. Лишь спустя несколько месяцев русское командование стало наказывать военнослужащих за такие проступки, иногда очень жёстко, вплоть до расстрела. Но в мае сорок пятого всё было не так.

Берлин капитулировал, город лежал в руинах, но наш дом чудом уцелел. Мы с дядей всё время были вместе. Боялись хотя бы ненадолго расстаться. Думали, если погибнем, то вместе. В то утро я послала его за водой: электричество отключили давно, воды в кране не было. „Не бойся, - сказал он, - я скоро вернусь“. - „Ваня, будь осторожен, смотри не нарвись на русских“. В городе было беспокойно, кое-где ещё раздавались выстрелы, и это было по-настоящему опасно: ведь от шальной пули никто не застрахован. Мы боялись даже шороха собственных шагов. Поэтому я дверь за дядей лишь притворила. Подумала, может, за ним кто-то гнаться будет, пусть дверь на всякий случай остаётся

открытой.

Этот русский не вошёл, он ворвался в дом. Ему было лет 25. Белокурый, небритый, с нехорошим блеском в глазах. От него несло винным перегаром. В углу рта зажата папироса. Он вошёл и прямо на меня. Я попятилась. Он вытащил пистолет и положил на стол. Затем неспеша снял с себя ремень, намотал на руку и вновь стал приближаться ко мне. Я поняла, что сейчас он меня ударит. Я закричала „пейп“ и метнулась в другую комнату. Но он настиг меня, схватил за грудь, резко рванул к себе и повалил на пол. Убьёт, - подумала, - закрыла глаза и решила не сопротивляться. Он содрал с меня нижнее бельё, лёг на меня и стал расстёгивать штаны. Лицо его побагровело, белки глаз налились кровью и он буквально зарычал: „Ну что, курва, овчарка немецкая!“ и ещё много других грязных слов. Я оцепенела. Страх ушёл. Тело моё мне больше не принадлежало. И вдруг, словно вспышка молнии: ведь он может заразить меня дурной болезнью. И я закричала: „Ваня!“ Насильник внезапно обмяк. Задержавшись на мне ещё несколько секунд, он наотмашь ударил меня по лицу, затем встал, застегнул штаны и поспешно удалился“.

Мы помолчали. „Тётя Лена, как ты думаешь, почему он оставил тебя в покое?“

- „Ты знаешь, Веруня, мне кажется, что его тоже, как и твоего дядю, звали Иваном. Услышав своё имя, он оторопел, и только поэтому не успел довести своё черное дело до конца“.

Я поблагодарил Верену за рассказ, и мы расстались, договорившись при случае ещё раз встретиться на сей раз у её мамы.

Прошло всего полтора месяца, как я впервые переступил гостеприимный порог дома госпожи Олденхауэр. Май бесчинствовал на улицах города. Желтые фонари цветущей акации источали одуряющий запах. Трудолюбивые пчёлы методично опыляли один цветок за другим, унося на хоботке полновесный взятки. Стайка воробьёв, усевшись на сарайчике и о чём-то посовещавшись, внезапно взмыла вверх и расположилась на крыше соседнего дома. Я снова шёл к фрау Олденхауэр, условившись о встрече по телефону с ней и Вереной. В руках у меня целая охапка гладиолусов, которые здесь, в Берлине, сказочно дешёвы. Хозяйка обрадовалась цветам, как ребёнок: „Посмотри, Верена, какое чудо!“ Обе женщины засуетились и успокоились только после того, когда цветам определили своё место.

Никакого „чая с баранками“ не было, а был кофе и обыкновенный немецкий кухен. А ещё было вишнёвое варенье, сваренное хозяйкой, такое, которое варят только в России. Затем полилась неторопливая, ни к чему не обязывающая беседа. Что вот хорошо бы так почаще встречаться. А я сидел и думал о судьбе книг, вывезенных когда-то из России. На

мой вопрос, где они, хозяйка ответить не смогла: „Кто его знает, может быть, на чердаке. Но вы туда не доберётесь“.

Я встал из-за стола и поблагодарил за угощение: „Хочу попрощаться, фрау Олденхауэр, собираюсь на две недели в Москву. Думаю сходить на кладбище и навестить своих друзей“. Она проводила меня до двери и пожала руку: „Счастливо! Поклонитесь России!“. Голос её дрогнул, но она быстро справилась с собой и добавила: “Кстати, я прочла вашу книгу“. - „Ну и как?“ (Хочу, естественно, услышать хоть какие-то слова одобрения). „Хорошо, что вы вернулись на родину. Я этого сделать не успела“.

ГЕНРИЕТТА ЛЯХОВИЦКАЯ

ВУЛКАН

В бездействии вулкан громадою бездонной
неслышно дышит медленно и сонно.
Спокойный внешне, он дымит прилежно,
так безобидно, безмятежно...
Лишь пепла седины на склонах выдаёт,
какой огонь внутри него живёт,
как содрогнётся он, и лавою всклокочет,
побьёт камнями, и област дыханьем серным,
и пламенем сожжёт, испепелит, когда захочет
себе быть верным.

Так сердце без любви моё – живёт в неволе,
неслышное и мягкое до боли,
спокойно бьётся, внешне безмятежно,
так равномерно, равнонежно...
Лишь пепел седины досрочной выдаёт,
какой огонь в груди моей живёт,
какая лава там вдруг жгучая всклокочет,
когда зайдётся сердце чувством беспримерным
и пламенем сожжёт, испепелит, когда захочет
себе быть верным.

1966

НАВСЕГДА

Даже когда я черты забываю
лица твоего,
даже когда о тебе я не знаю
почти ничего,
даже когда ты бросаешь упреки
мне, не любя,
даже когда я совсем одинока
в днях без тебя,
даже тогда я люблю тебя верно,
даже тогда
моё чувство безмерно
и навсегда.

1967

ДАЙ МНЕ ЗЕЛЬЯ

Ой ты милый мой, ты, любимый мной,
ненаглядный свет, сокол трепетный,
ты не хочешь меня своею женой,
ни норовистой, ни безлепетной...

Так и я тебя не хочу в мужа,
не хочу тебя в полюбовники,
а хочу я жить, как была – ничья,
за другого идти, что в терновники.

И не надо мне приворотного
зелья крепкого и пахучего,
лучше дай питья отворотного,
зелья терпкого, наилучшего.

Пусть в глазах моих потемнится свет,
пусть лицо твоё злым покажется,
пусть поверится в наговор-навет,
в то, что ворогом твоим скажется.

И раскину я руки белые,
и весна вокруг станет пряная,
и глаза мои станут смелые,
и от воли я буду пьяная.

Отпусти меня, дай мне быть одной,
не держи меня силой властною,
ой ты милый мой, ты любимый мной,
ненаглядный свет, сокол ласковый.

1967

СВЕТЛОЕ

Мы с тобою любили друг друга
в торжествующем солнечном свете.
Нас касался легко и упруго
и ласкался к нам утренний ветер.

И светло было нам, и не стыдно,
беззаботны мы были, как дети...
Лишь теперь стало явственно видно –
были счастьем мгновения эти.

1968

НАУЧИ РАЗЛЮБИТЬ

Отпусти моё сердце на волю,
научи, как тебя разлюбить,
постоянной томительной болью
перестань ты меня изводить.

Разомкни свои сильные руки,
отдали свою крепкую грудь,
прекрати эти сладкие муки,
оттолкни, отвернись и забудь!

1973

НО ПОЧЕМУ ТЫ МИЛ МНЕ?

Мне оттепели глаз холодных, серых
не довелось хоть раз
единственный увидеть. Верно,
в удел мне дан лишь холод этих глаз?

Я не слыхала слов любви ни разу
из этих твёрдых уст.
Ты думаешь, такие фразы
из уст других я знаю наизусть?

Но почему глаза твои мне любы,
холодные со мной?
И почему милы мне губы?
Ответов нет... У чувства ход иной.

1974

БОЮСЬ ВОЗВРАТА

Ты знаешь, родной, это странно,
но я не люблю тебя.
Слишком я сердце изранила
так долго одна любя.
Свободна от бедственной тайны.
Холодный покой в груди.
Теперь не могу настаивать,
как прежде: «Услышь, приходи!»

Видишь, как сердце устало?
Так уж тому и быть...
Нелепое счастье настало –
мне тебя не любить.

Видно, молилась не зря я,
не пожалев колен.
Ликую я, отряхая
долгого чувства тлен.
Спасительная утрата –
резать не надо вен.

Но как я страшусь возврата
всё в тот же самый плен!

1975

МУЖЧИНАМ

Зачем
вы верите слезам капризных женщин?
Они рыдают часто, напоказ,
и вкладывают чувств гораздо меньше,
чем эти слёзы вызывают в вас.

Есть женщины, которые не плачут
и сдержанны в присутствии мужчин,
но разве эта выдержанность значит,
что нет у них совсем для слёз причин?

Когда, лицо склоняя, замолкает
такая женщина, нежнее будьте с ней,
то слёзы горькие она скрывает..
Проглоченные слёзы жгут сильней.

1983

ТЫ УХОДИЛ

Как это просто – встать и уйти,
ничего не сказав, не спросив, не ответив,
и на лёгком, бездумном, обратном пути
забывать, забывать, забывать на рассвете.

И не надо потом ни о чём вспоминать,
даже позже, когда затихать станет вечер,
и другие ладони начнут обнимать
твои смуглые, сильные, ладные плечи.

И ничто не напомним тебе обо мне...
Будут вина крепки, будут женщины любы.
Только изредка в сонной ночной тишине
быстрой лаской пригрезятся нежные губы.

1987

ИЗБАВЛЕНИЕ

Любовь, ты мне была такою мукой,
такою пыткой для меня была,
что вместе с расставанием, с разлукой
я счастье избавленья обрела.

Прости меня! Быть может, я казалась
обузой надоедливой тому,
к кому душой доверчиво прижалась,
подавшись наважденью твоему.

Прости меня за бегства своеволие,
за то, что я укрыться здесь смогу,
ведь я измучена такою болью,
какой не пожелаю и врагу.

Но я прошу, не дай тому страданья,
кого любить мне было суждено,
тому, с кем даже редкие свиданья
возобновить мне больше не дано.

Возможно, я была в любви бездарна —
вини меня, но не вини его.
Ему вовек я буду благодарна
за каждый миг пыланья моего.

1998

СВИДАНИЕ С ПРОШЛЫМ

Вот и встреча с тобою...
С губ сорвался вопрос,
неуместный вопрос:
«Боже, что с тобой случилось?»

Неуёмные пряди
твоих тёмных волос,
твоих юных волос
запылила усталость.
Сможем вспомнить едва ли
то, с чего началось,
да, с чего началось? –
пустяковая малость.
От неё эти пряди
непокорных волос,
твоих пышных волос
запылила усталость?
Ну, не надо, не надо,
не скрывай этих слёз,
непрощающих слёз...
Мы не верили в старость.
Но волнистые пряди
твоих тёмных волос,
твоих юных волос
запылила усталость.

1991

ПОГАСИТЬ СВЕЧУ?

Она думала о том, ...как мучительно она любит и
ненавидит его, и как страшно бьётся её сердце...
«Надо избавиться. Отчего же не потушить свечу...»
Прозвенел третий звонок, раздался свисток, визг
паровика: рванулась цепь... Она смотрела...на
высокие чугунные колёса...« Господи, прости мне всё!» –
проговорила она, чувствуя невозможность борьбы.

Лев Толстой «Анна Каренина»

Был жутким стук металла по металлу –
зловещий знак грядущего конца...
Она тогда ещё не понимала,
что от любви взрываются сердца.

Лишь позже, много позже, звук металла
напомнил ей знамение судьбы,
и, невозможность чувствуя борьбы,
«Прости мне всё, Господь!» –она сказала.

И напряглась последним напряжением
любви и жизни золотая нить,
и эхом мысли стало губ движение:
«Так отчего ж свечу не погасить...»

Рванулась цепь калёной старой стали...
Склонилась Анна к рельсам в темноте.
Метались тени... В жалкой суете
останки из-под поезда достали...

Высокие чугунные колёса,
звонок, свисток и визг паровика.
Ушёл тот век... Что для любви века?!
Моей судьбы не разрешить вопроса!
От ненависти и любви кричу.
Так отчего не погасить свечу?

2004

К 60-летию разгрома фашизма В ЭВАКУАЦИИ

Нас называли «выковыренные».
Как точен чуткий тот язык:
войной из мест привычных вырваны,
без крова, без друзей, без книг,
бедой заброшены куда-то,
казалось, в пропасть, в пустоту,
остановились мы, прижаты
судьбой к Уральскому хребту.

Далёк от взрывов и воронок
пути бездомного конец,
и долго пули похоронок
искали адреса сердец.

Остановились... И вращали
в тяжёлый и голодный быт:
разутыми ногами встали
на место тех, кто был убит,
и стальные стволы рубили
в глухом заснеженном лесу,
и до мозолей их пилили,
глотаю жгучую слезу.

Птиц взглядом провожали вольных,
летевших к дому по весне,
и ждали писем треугольных,
как ждали писем треугольных! –
и на работе, и во сне.

Освоились. Сроднились с местными,
смешали говор городской
с их речью, сказами и песнями,
с их радостью и с их тоской.
И с карточками за продуктами
стояла очередь – одна,
и чёрным глазом репродуктора
смотрела на людей война.

Да, были беспощадно вырваны,
но распрямились и вросли.
И гордо мы, эвакуированные,
цветы победные несли!

1983

ПЛАЧ ВОЙНОЙ ИЗМОЖДЁННОГО ДЕТСТВА

На Пискарьевском кладбище

Я знаю голод всем моим нутром.
Он в детстве пропитал меня насквозь.
Во мне сидит он – ядовитый тромб,
как вбитый в душу старый ржавый гвоздь.

В глазах моих усталых нету слёз,
хоть я на кладбище, где нет могил
в отдельности и нет крестов и звёзд.

Смотреть на камни без имён нет сил.
Под ними люди в ямах, всё тесней.
Все казнены, и голод – их палач.

Стук метронома мерен и тягуч,
однообразен строй суровых плит.
Вдруг вижу: на одной из них лежит
ХЛЕБ, настоящий, порист и пахуч!

И через пропасть отошедших дней,
сквозь горла спазм пробился детства плач.

Ленинград 1992, Берлин 22 июня 2004

НИКЕЙВА

Она была никейва со стажем. В нашем небольшом городке её знали все.

Вернее, мужчины, которым надоели жареные котлеты и воскресный чай с печеньем. Те, кто не достиг совершеннолетия, знали о её существовании и пытались ночью, через закрытые окна подсмотреть, чем занимаются их папки и бородатый поп. Батюшка был статный и сильный мужчина. Однажды выходя от некейвы, он столкнулся в дверях с таким же бородатым, молодым, но уже почему-то сутулым раввином. Приподняв шляпу, он поприветствовал брата по несчастью, а тот закатил хитрые глазки, мол, пути господни неисповедимы, а наши ... и, извиняясь за всех евреев, пропустил святого отца. Батюшка был рад, что его несчастье такое же, как у раввина, и бежал к попадье рассказать, какой у них в городе хороший рэбэчка. А тот, в этот момент, ругал некейву за развратный образ жизни. И за то, что пускает к себе необрезанных. Это – не кошерно. Никейва щекотала рэбэчку за пейсиками, а он, положив свою умную головку ей на коленки, прощал грешнице мелкие шалости.

Женщины нашего городка ругали и даже проклинали её. Но не так чтобы очень сильно, всё-таки человек, а были и такие, которые ей даже завидовали.

Так как городок наш небольшой, то все встречались чаще, чем они этого хотели. Особенно было интересно наблюдать, когда на улице появлялась некейва. Если она прохаживалась по левой стороне улицы, женщины переходили на правую, или наоборот. Если ей навстречу шёл мужчина, то он специально проходил как можно ближе и вдыхал сладкий запах запретного удовольствия.

Но когда навстречу шли муж с женой, можно было умереть со смеху. Муж тянулся к некейве, а жена – в другую сторону. И только предупреждение жены, что сегодня распутник будет спать в гостинной и притом один, действовало на него успокаивающе.

Каждый человек имеет имя. Дадим его и нашей героине. Давайте назовём её Циля или Хайка. Вот умора. Где же это видано, чтобы некейву так звали. Хотя чем эти имена лучше других? Можно подумать, что с такими именами живут одни ангелочки.

Давайте называть её Фаина. Почему? Наверное, потому, что буква Ф напоминает мне лучшую часть её тела. Интересно, почему я начал именно с этой части тела? Наверное, потому, что мне мясное нравится больше, чем молочное, но это так, между прочим.

А вообще, Фаиночка была не так дурна собой. Круглолицая. Губки красные и сладкие, как малина. Грудь, как херсонские арбузы, сладкие и не переспелые, и если прижаться губами к краникам, то можно долго утолять жажду. Глаза чуть-чуть раскосые и все зубы кроме одного ровные, но и он украшал её. А эти раскачивающиеся бёдра напоминающие Айсберг? Ну всё как у вашей жены, или почти так. Единственное чего не хватает так это шторма.

Фаина знала себе цену. От десяти до тридцати рублей, в зависимости от сервиса. Перечислить? Ох, какие вы любопытные. Ну хорошо. За десять рубликов её можно было потрогать за букву Ф. А за тридцать мужчины, столкнувшись с айсбергом, два дня не смотрели на своих жён.

Но самая большая ценность Фаины – она могла слушать. Уложив на перину клиента, она садилась рядом и начинала делать себе маникюр, а клиент рассказывал о работе, о друзьях, о жене и детях. О жене почему-то говорят много. И какая она непонятливая, и какая она неряха, и вообще в сексе она ноль без палочки, и если бы не мама, то он был бы ещё холостой. Дети, вот что его держит – дети, и если бы не они... И он как нищий, ожидающий милостыню, смотрел на Фаину. Отложив в сторону причиндалы, она поправляла херсонские арбузы и глубоко вздыхала. Этот вздох моральной поддержки стоил клиенту пару лишних рубликов.

Иногда к Фаине приходили женщины. И не думайте! Фаина не изменяла мужчинам. Просто не получавшие неделями ласки, женщины приходили к ней за советом. За чашечкой чая Фаина делилась с женщинами маленькими тайнами и те, краснея, слушали её как замороженные. Прощались они не как лучшие подруги, но и не как враги. Идя домой, женщина думала о своём муже и уговаривала себя: «Лучше Фаина, чем какая – то проститутка. Она его плохому не научит», и довольная, что у них в городе есть такая некейва, спешила застать не успевшего заснуть мужа. В эту ночь она старалась быть лучше своей учительницы, и удивлённый муж, закатывая свои свинячьи глазки, признавался ей в вечной любви, то есть до утра.

На шестой день творения создатель сказал: «Нехорошо быть мужчине одному» и подарил ему Еву.

Рому любили все. Высокий – один метр шестьдесят сантиметров. Худой – семьдесят девять килограмм и пару граммов, с небольшой лысиной, которая пробивала себе дорогу, как говорила моя мама, с переда назад. В общем, он выглядел неплохо. Единственным дефектом и преимуществом было то, что Рома был вдовец. Нет! Жена была здорова и как! Просто когда она уходила к кровельщику Мойше, жена сказала, что для Ромы она умерла. Встречаясь на улице, они здоровались, но так, для приличия. Всё-таки они когда-то целовались, а это что-то да значит.

Три года Рома только смотрел на женщин, и друзья даже стали волноваться. Мужской сок бил Роме в голову – и он иногда заговаривался. «Дурак» – говорили друзья, и они были правы – иди к некейве, это тоже женщина. И они опять были правы. И Рома пошёл. Наконец он поступил правильно.

Увидев вблизи Фаину, он дрожащим голосом спросил, сколько будет стоить простое человеческое счастье. Узнав, что не так дорого, он поинтересовался, так, между прочим, а большое счастье? И ещё раз узнав, что это ему по карману, заказал два больших счастья с перерывом в десять минут. Фаина была некейва со стажем и сразу увидела, кто перед ней стоит.

Спросив Рому, когда он в последний раз был на рыбалке и, получив ответ, что он три года не может найти удочку, она уложила его на всем знакомую перину и укрыла тёплым одеялом. Она сняла кофточку и села на край рабочего места. Увидев спелые арбузы, Рома пришёл в восторг – и одеяло приподнялось. Фаина погладила Рому по головке, и одеяло, вздрогнув, опустилось. «Какая женщина», – подумал Рома и стал внимательно разглядывать Фаину. «Какой мужчина», – промелькнула у Фаины – и их глаза встретились.

На этом можно было бы и закончить. Ведь вы уже догадались, что будет дальше, не глупые. Поэтому умные могут выйти, а для хороших людей я продолжу.

Клиенты стучались в дверь, но никто не открывал. К вечеру в городе началась небольшая паника. Рома обманул Фаину и получал удовольствие с перерывом всего в пять минут. Усталая Фаина уснула как настоящая женщина в объятиях настоящего мужчины. Эта ночь стала для нашего городка роковой. Мужчины, лишённые внимания Фаины, спали со своими жёнами и так, между прочим, занимались любовью. И вы знаете, многим это понравилось. Через девять месяцев небольшая больница была забита роженицами.

Рома влюбился по-настоящему. Он стоял перед Фаиной на коленях и просил выйти за него замуж. Фаина кричала на него и толкала ногами. Зачем ей этот дурак? Какая может быть свадьба? Зачем она ему нужна? И вообще, она же некейва, неужели он этого не знает? «Знаю», – признавался Рома – ну и что?» Фаина готовила обед, и они вместе ели. Ей нравилось, как Рома уплетал пережаренную картошку и хвалил её уродливые котлеты. Он клялся, что такой вкуснятины ещё не ел. «Дурак» говорила она ему. Потом назвала его дурачком. Потом мой дурачок. Через неделю откормленный и счастливый Рома, взяв под руку свою Фаиночку, вышел в город. Город молчал.

И если бы хоть кто-то сказал одно плохое слово о моих дорогих героях, то я бы вычеркнул его имя из моего рассказа.

Теперь и мне пора заканчивать. Пусть умные зайдут. В конце концов, они тоже имеют право знать всю правду.

ТОТЭЛЭ

*Посвящается шестидесятилетию
победы над фашизмом.*

Войну, как и горе, никто не заказывает. Горе приходит и уходит, когда захочет, а война ждёт, когда её закончат люди.

Лёву никто не спрашивал, хочет ли он воевать. Он получил повестку, посмотрел на жену, прижал к себе дочку, расписался и стал солдатом. А действительно, зачем Лёве стрелять в кого-то и зачем кто-то должен убивать его. Он никому ничего плохого не сделал. Он шил людям брюки, костюмы, любил свою жену Розочку и не чаял души в своей дочке Голдочке. Она была его нахес – счастье.

Дома говорили на русском и идиш. Голдочка называла Лёву тотэлэ, и он таял от счастья, когда нахес садилась ему на колени и они, рассказываясь, пели еврейские песенки. Голдочке исполнилось четырнадцать лет, когда она с мамой, стоя на переполненном перроне, провожала тотэлэ на войну. Военная форма не шла Лёве. Обнимая жену и дочь, он успокаивал их и себя: «Ну, не плачьте, я же ещё живой. И, вообще, я не собираюсь умирать. Вы увидите, я вернусь всем назло». Жена на минутку перестала плакать и посмотрела на мужа: «Лёва, ты думаешь, что мы имеем что-то против твоего возвращения? Так чтоб ты знал, ты ошибаешься, это не так. Мы будем тебя ждать, даже если ты вернешься без ног».

Теперь Лёва с удивлением и ужасом посмотрел на Розочку: «Почему без ног? Причём здесь мои ноги...»

Чужие руки подхватили Лёву, и он оказался в теплушке. Солдаты стали устраиваться и под монотонный стук колёс уснули. Утром их поезд догнали немецкие самолёты. Покорившие Европу и набравшись опыта, как убивать людей, немецкие лётчики точно сбросили бомбы, и вагоны, охваченные огнём стали могилами для многих солдат. Те, кто успел спрыгнуть, не зная, что делать, ложились на землю и прикрывали голову руками, думая, что руки спасут их от смерти. Немецкие ассы без труда узнавали лежащих солдат и расстреливали их. Лёве удалось отбежать подальше от поезда и, не отдавая отчёта своему движению, присел на корточки, обхватив руками винтовку.

Увидев с высоты большой камень, которым стал Лёва, лётчики стали стрелять в лежащих вокруг него солдат. Случайность оказалась чудом, и Лёва остался невредим.

Оставшийся в живых офицер собрал солдат, и они скрылись в лесу. Через несколько дней боёв он понял, что они попали в окружение, и принял решение начать партизанскую войну.

Прошло два года. От солдат, переживших бомбёжку в поезде, оста-

лись офицер и Лёва.

Розочка и Голдочка напрасно ждали писем от Лёвы. Окруженные и постоянно меняющие место партизаны не имели времени писать письма.

В ватнике, с бородой, как у раввина, Лёву не узнал бы никто. Воевал он хорошо. Зная идиш, а это почти что немецкий, Лёва часто принимал участие как переводчик при допросах взятых в плен немецких солдат. Не все немцы глупые, и те, кто слышал, как он мешает настоящие немецкие слова с придуманными, со страхом понимали, кто стоит перед ними. С глупыми немцами Лёва начинал допрос примерно так: «Я еврей и русский солдат, а ты настоящая сволочь. И если ты не расскажешь всё, что знаешь, я тебя сам расстреляю, и мне за это ничего не будет. И ты знаешь почему». Сволочь знала, «почему» и охотно давала показания.

Прошло ещё два года, и партизанский отряд соединился с регулярной армией. Лёва написал первое письмо. Он уже знал, что немцы делали с евреями, и что от их города осталось только название, но надеялся, что с его семьёй ничего не случилось. Ответа на письмо не было. Он вспоминал, как Розочка просила его вернуться даже без ног, и представил, как она удивится, увидев, что они на месте. Лёва всегда улыбался, когда вспоминал свою тёп-лую, пахнущую молоком Розочку. Четыре года без неё и Голдочки – этого он сволочам не простит. Лёва рассказывал солдатам о своей самой красивой и умной дочке на свете. Его нахес Голдочка, как ангел, охраняла его всю войну, и Лёва это чувствовал. Лёва устал от войны. Ему хотелось домой. Розочка подаст ему чай и будет наблюдать, как он ест приготовленную её золотыми руками курочку. Потом, когда он сытый ляжет на диван, она будет тихо ходить по комнате и не разрешать дочке шуметь. Это была его жена-Розочка.

Солдаты не плачут. Но в этот момент Лёва был плохим воином и слёзы катились на его медали. Однажды он получил письмо. Прочитав на конверте свою фамилию и имя, он открыл его. Оказалось, что ещё один Лёва с его фамилией бьёт сволочей. Чужая жена писала, что волнуется, любит и ждёт своего Лёву, а дети нарисовали свои ручки, чтобы папа видел, какие они взрослые. Жена писала, что у неё всё в порядке. Интересно, что она имела в виду, когда писала «в порядке», подумал Лёва и ответил ей. Чужая жена узнала, что муж жив, здоров и что он очень любит её и детей. Он сообщил, что ранен в руку и вместо него письмо пишет ей его друг.

Наступила ещё одна весна. От сволочей осталась кучка фанатов, которым ещё не надоело играть в войну. Молодые солдаты часто спрашивали Лёву, как ему удалось пройти почти всю войну без единой царапины.

Лёва, скрывая улыбку, начинал учить юнцов: «Главное – это никогда не ложиться лицом вниз. Пуля чувствует, когда её боятся, и бьёт тех, кто не смотрит ей в глаза. Поэтому нужно присесть на корточки и притвориться камнем. Во-первых, вам всё видно, а вас нет, ведь вас за

камень принимают. Во-вторых, и нужду легче справиться, если страшно станет. А если бежать захочется, встал – и нет тебя. А лёжа неудобно. Пока встанешь, шинель поправишь, осмотришься, пуля свистнет – и война для вас закончилась».

Солдаты смеялись, но самые умные уходили в сторону и учились приседать.

Война закончилась, и первые эшелоны с героями стали возвращаться домой.

Первые дни Розочка с Голдочкой встречали каждый поезд. Потом жене стало трудно часами стоять на перроне, и дочка стала приходить одна. Она была уверена, что тотэлэ вернётся, ведь её папа не мог погибнуть, он дал ей слово. Поезда стали приходить реже, но Голдочка не теряла надежду.

Прошло два месяца. Флаг победы развивался над Рейхстагом, а Лёва с отрядом разведчиков вёл бой в Баварском лесу. Последние остатки, сволочей, спасая свои никому не нужные жизни, стреляли в хороших людей, и жёны, не дождавшись мужей, становились вдовами. Лёва стрелял, и кто-то стрелял в него. Несколько пуль пролетели мимо, обжигая его лицо. Командир поднял солдат в последнюю атаку. Лёва бежал и, как все, что-то кричал. Кто-то упал рядом, и Лёве захотелось превратиться в камень. Неожиданно перед ним, как из-под земли, выросла огромная сволочь. Сволочь орала и нажимала на курок, но уставший и пустой автомат мочал. Лёва прицелился и увидел перед собой перепуганное лицо человека. Палец свела судорога. Лёва не хотел больше убивать, ведь война уже закончилась. Он опустил автомат. Они стояли и смотрели друг на друга.

Лёва спросил: «Что будем делать? Was werden wir machen?»

Бывшая сволочь удивилась, что русский знает его язык и ответила: «Ich weiß nicht». Они сели на большой камень, и Лёва протянул немцу папиросу.

Русский летчик, пролетая низко над поляной, увидел двух солдат, причём один был немецкой форме, а другого он не распознал. Сделав ещё один круг, он на всякий случай сбросил на них небольшую бомбу. Взрыв заглушил отчаянный крик, и эхо, перепрыгивая с ветки на ветку, затерялось среди убитых и полуживых солдат.

Голдочка случайно узнала, что вечером на вокзале останавливается поезд с ранеными солдатами из Германии. Поезд медленно, как черепаха, полз вдоль перрона. Голдочка увидела, как солдаты стали выносить из вагонов носилки. Её глаза разбегались в разные стороны. Мимо неё несли раненых, и она не могла уследить за всеми. Тогда она глубоко вдохнула и со всей силой закричала: «Тотэлэ».

Санитары остановились, и один из раненых приподнял голову... Наверное, вам хочется, чтобы раненым был Лёва? Мне тоже. Ведь он дал слово вернуться. Да и не могу я представить другого солдата на носилках. Тем более что Лёва обещал вернуться с ногами.

ШНОРЕР

Значит так. В одном штэйтл жил богатый еврей. Он имел свой маленький банк, жену и дочку. Всё местечко было у него в долгу. Все брали у него кредит и отдавали деньги с трудом. И если бы банкир, а звали его рэб Хаим, захотел, то забрал бы все гешефты у должников и штэйтл перешёл бы в его руки. Но так как рук было всего две, то Хаим решил не загружать их дополнительной работой. Жил он хорошо и ни о чём плохом не думал.

А зря. Нельзя быть уверенным, что хорошо будет всегда.

Хаима не очень любили, он был, как говорили старые евреи – «а Пуриц» и этим всё было сказано.

В этом же местечке жил еврей по имени Мойше. «Рэбом» его не называли, так как он был шнорер. Нет, он не был нищим, он был шнорер. Какая разница? А какая разница между голым и обнажённым? Вот и это примерно так же. Мойша был добрым и хорошим человеком. Он вставал утром и, надев кипу, читал молитву, потом ел и шёл на работу. Шнорерство было его работой и причём очень много лет. Он ходил от дома к дому, от одного гешефта к другому, желал людям парнусы, молился за них, чтобы они не болели, а их дочери выходили замуж за богатых. А у тех, у кого были сыновья, брали бы в жёны богатых невест. Он никогда никого не проклинал, чем и отличался от других. Он был профессиональным шнорером.

Мойша получал за свой труд деньги, еду, а иногда ему хватало простого спасибо. Жил он хорошо и даже смог отправить своего единственного сына Шмулика учиться в большой город Одессу. «Шмулик будет инженером», – решил Мойша и работал не жалея ног, чтобы обеспечить своего сыночка.

Но так долго продолжаться не могло. Не может быть, чтобы всегда было хорошо. Я уже об этом вас предупреждал.

И дорога ребе Хаима перехлестнулись с тропинкой нашего Мойше. Вы спрашиваете меня, что может быть общего у банкира и шнорера? Вы не знаете? Ну так я вам расскажу. Слушайте дальше.

Что евреи любят больше всего? Даже больше, чем фаршированную рыбу? Правильно! Это дети! Наши дети, унзэрэ кляйне киндерлэ. И даже когда они уже большие, всё равно болит за них сердце и не спится ночами. И не бросает еврей свою жену, потому что детей жалко. И не бросает еврей любовницы, потому что и её детей жалко. И не бросается еврей с моста, если жена ушла, а сбрасывает другого – и всё это из-за детей. Вот это и есть то, что сблизило судьбы Хаима и Мойше. Их дети! Их киндерлэ!

Однажды, вернувшись из банка, рэб Хаим сел за стол и стал ждать ужина, но ужина не было. Реб Хаим крикнул: «Во из майн эсэн?» и, не

получив ответа, стукнул по столу. Из спальни, держа мокрый платочек перед глазами, вышла его жена Фэйга. У Хаима сжалось сердце. Фэйга никогда не плакала, значит, что-то случилось, что-то очень серьёзное.

– Вус? Вус ист? Зуг эпэс? Фарвус вэйнс ду? – спросил Хаим. Фэйге села на стул и ти-хо сказала: «Цурэс! Цурес ис аф унс гекомэн!»

– Вус фюр а цурес? Зуг шон! – потребовал Хаим.

– Унзерэ тохтэр, Малкэ, а беременная, – и Фэйге заплакала ещё больше.

Хаима ударило, как громом. Его единственная дочь Малке, его жизнь, его наследница – «а беременная». Хаим вскочил, и его крик, был слышен на соседней улице.

– Кто это? Кто это сделал? Я посажу его за решётку! Я его нишим сделаю! Я из него кишки выпущу.

Так вот, на вопрос: «Кто это сделал?», – Хаим получил ответ, что это сделал?.. Ну, кто? Я знал, что вы догадаетесь. Правильно! Этим мальчиком оказался сын шнорера – Шмулик. Хаим бесновался и кипел угрозами, пока тихий голос Фэйги не вывел его из этого состояния:

– Ша! Чем орать, лучше подумай, что делать. Если люди узнают о нашем цуресе, нам придётся со стыда уехать из этого местечка.

Но Хаим не хотел уезжать из местечка. Он вызвал к себе в кабинет шнорера Мойшу. Ничего не подозревая, Мойше зашёл и сказал: «А гитен моргэн, рэб Хаим, унд бис хундерт цвонциг юрэн золен зи лэбэн».

– Ты что придуриваешься? Дус ист а гитер моргэн? Дус ист а шлэх-тестэ моргэн ин дайнэм лэбэн. Дайн зон, дайн шлимазл – Хаим не зная, что ещё сказать, – крикнул: «Моя дочь беременная от твоего сына!»

И тут рэбе Хаима понесло, он проклинал и угрожал, он прыгал и топал, а в конце крикнул Мойше: «Вон из моего кабинета, вон из моего местечка!»

Мойше, оскорблённый и оглохнувший от криков, повернулся и тихо вышел.

В кабинет Хаима зашла его жена и спросила: «Что слышно?» Хаим ехидно ответил: «Ду фрэйгс, вус эрцэх? – и добавил – Гурнышт! Я ему показал, – он меня не забудет!»

– Идиот! Ты настоящий идиот! – Фэйга впервые в жизни назвала так своего Хаима.

– Фарвус? – спросил он. – Тут Фэйге выдала ему всё, что было у неё на душе.

– У нас в доме беременная дочка! А у неё нет мужа! Я никогда не смогу выйти на улицу, люди нас засмеют. Я повешуюсь, а может утоплюсь, я ещё не решила. Нашу дочку закидают камнями, а ты потом снова женишься. Нет, я этого допустить не могу. Вызови Мойшу и извинись перед ним. Придумай что-то! Встань перед ним на колени! Спаси нас всех!

Хаим долго молчал. Он Хаим, должен идти к шнореру Мойше и извиняться. Как говорится — дожил. Но что не сделаешь ради такой жены и ради его жизни, его дочери. Хаим оделся и пошёл к Мойше. Он долго стоял, не решаясь постучать, но дверь открылась, и появился удивлённый Мойше: «Рэб Хаим, вы ко мне? Ну зачем? Я бы сам мог к вам прийти».

— Ша, нам нужно поговорить, — сказал реб Хаим.

Сев на стул, он сразу начал говорить о чести семьи, о дочке и том, как им стыдно и что он готов всё забыть. Он, реб Хаим, хочет сделать Мойшу и его сына Шмулика членами его богатой семьи. Кончив говорить, он посмотрел на Мойшу. Мойша был удивлён, но что не сделаешь ради детей. Мойша улыбнулся и сказал, что он готов дать своё благословение, но у него есть одно условие.

Ну, какое условие мог поставить бедный Мойша богатому Хаиму? Вот и не угадали. Ничего страшного. Слушайте, что предложил Мойша: «Вы, реб Хаим, должны завтра с восьми часов утра и до шести часов вечера ходить со мной по гешефтам и просить милостыню, то есть шнёрать. Если вы согласитесь, то завтра вечером ровно в шесть часов я дам своё благословение. Если нет, то и свадьбы нет!

И что вы думаете? Согласился реб Хаим или нет?

Конечно, согласился. Чего не сделаешь ради детей.

Итак, утром Мойша встретил Хаима и объяснил ему, что и как нужно говорить.

Первым гешефтом была булочная, хозяин которой должен был Хаиму деньги. Войдя в гешефт, Хаим поздоровался. Хозяин от удивления открыл свой рот. Чтобы реб Хаим с кем-то первым поздоровался, должно было что-то случиться. Хозяин булочной подумал: «Наверное, реб Хаим пришёл за деньгами?». И сразу стал говорить, что дела плохие, но он деньги отдаст, как только... Но Хаим его перебил и сказал, что ему уже не до денег. Дело в том, что он, Хаим, банкрот и у него нет за душой ни копейки, и он пришёл попросить у него, бывшего должника, — милостыню. Услышав, что долгов больше нет, хозяин высказал Хаиму всё, что он о нём думал, потом взял Хаима за шиворот и выбросил на улицу. Бедный Хаим стоял и плакал, он не мог и не хотел больше никуда идти и просил Мойшу прекратить это унижение. Но Мойша настаивал на своём. До шести часов вечера, а потом благословение.

Второй гешефт, куда зашёл Хаим, была мясная лавка, хозяин которой тоже должен был Хаиму деньги. Но тут Хаиму повезло, и он получил пару копеек и кусочек колбасы. Радости Хаима не было предела, он смеялся и нюхал колбасу, как будто видит её первый раз в жизни. Отдав это всё Мойше, он смело направился в третий гешефт. Третьим гешефтом была парикмахерская. Хаим там долго не задержался, он вышел через пару минут оттуда, облитый мыльной водой. Мокрый, он

со злостью смотрел на витрину парикмахерской, потом нагнулся и взял в руку камень... Но Мойша успел вмешаться и, слава Б-гу, обошлось без полиции.

Остальные гешефты принимали Хаима по-разному. Где-то он получал по шее, где-то на него кричали, где-то ему дали деньги, а где-то дали еду. Очередной гешефт был уже один из последних. Выйдя от туда, Хаим держал в руке картошку, кусок хлеба и чеснок. Мойша открыл сумку, и заработанное Хаимом добро заполнило её доверху. День был хороший и подходил к концу. Отозвав Хаима в сторону, Мойша пересчитал заработанные деньги и с радостью сообщил: «Рэб Хаим, мы заработали неплохо, и всё будем делить пополам!». Потом, посмотрев на часы, Мойше сказал Хаиму: «Рэб Хаим, уже пол - шестого, я предлагаю идти домой. Вы своё слово сдержали, и я с радостью даю своё благословение».

Рэб Хаим, хозяин банка, быстро посчитав, сколько выпало на его долю и, увидев, что ещё не все гешефты закрыты, сказал: «Рэб Мойше, ещё есть полчаса и пару гешефтов открыты. Идём и выполним наш договор до конца».

Став вдруг рэбом, Мойша широко открыл глаза и удивлённо посмотрел на будущего родственника. Мойша был шнёрор, но не дурак и всё понял. Он подошёл к Хаиму, и они обнялись. У Мойши появился хороший партнер. Посмотрев ещё раз на часы, они оба поспешили в следующий гешефт.

Прошло время, наши герои стали дедушками. Шмулик и Малка наградили их шмуликами. А почему бы и нет! Чем они хуже других? Вы же видите, сколько Шмуликов окружают нас, может это и есть внуки Мойше и Хаима. Может, и среди вас есть Шмулики? Тогда знайте, что вы родом из местечка.

Из какого? Это я расскажу вам в следующий раз.

КАКОЕ СЧАСТЬЕ...

*Посвящается 60-летию
разгрома фашизма.*

Ещё никто не знал, как долго будет продолжаться война, а отец и брат уже лежали в братской могиле. Они не успели стать героями, их просто отправили на смерть.

Выплавав все слезы, мать вцепилась в Розочку и причитала так, как причитают матери, зная, что судьбу уже не изменить, и она оплакивала всех, в том числе и себя. Мать не пошла на вокзал, ведь все, кого она провожала, не вернулись домой.

Розе повезло. Она была хорошей медсестрой и попала сразу на фронт.

Войне исполнилось полтора года. Роза, перепачканная кровью и пылью, ползала среди солдат и прикасалась к каждому, надеясь, что кто-то ещё жив. Она привыкла к крови. И только оторванные руки и ноги, лежащие у неё на пути, вызывали страх и тошноту. Не все спасённые Розой солдаты дожили до конца войны, ведь она была в самом разгаре и смерть ещё не насытилась.

Войне исполнилось три года.

Розу наградили первой медалью, и заплаканная медсестра, стоя перед генералом, забыла поблагодарить отца народов товарища Сталина за оказанную честь. Но «хавер» Сталин не обиделся, ведь на детей не обижаются.

Судьбу Розы написали давно, и она выполняла всё по плану. Но война это не понравилось и судьбу пришлось переписывать.

Розину воинскую часть, или вернее то, что от неё осталось, окружили и солдаты стали пленными. Роза оказалась единственной женщиной среди изможденных и потерявших интерес к жизни солдат. Отобрав комиссаров и евреев, немцы увели их за небольшую горку – и оттуда раздали пулемётные очереди.

Перепуганная Роза стояла и ждала своей очереди. Ведь многие знали, что она еврейка и рано или поздно об этом узнают немцы, думала она.

К ней подошёл аккуратный немецкий офицер и, показывая на нашивку с красным крестом, спросил «Kannst du mich verstehen? Bist du Krankenschwester?» «Ja!» – ответила Роза и кивнула головой.

Офицер долго и внимательно рассматривал Розу, как бы не решаясь, что делать, потом приподнял её голову за подбородок, посмотрел в глаза и спросил:

«Bist du Jüdin? Stimmt?» Роза опять кивнула. Офицер улыбнулся. Чутьё не подвело его.

Подтолкнув Розу, он приказал ей идти за ним. В большой палатке лежали раненные немецкие солдаты. Врачи оперировали: крики немецких солдат ничем не отличались от криков русских. Своих медсестёр немцам не хватало, и Розе приказали помогать врачам.

Роза выполняла знакомую ей работу и к вечеру уставшая, она падала с ног.

Немецкий офицер наблюдал за ней, и когда никого не оказалось рядом, подошёл и положил на землю какие-то вещи. Переоденься, сказал он ей и вышел. Потом он принёс ей еды.

– Меня зовут Ганс, – тихо начал он. – Я не хотел войны, но меня заставили. До войны у меня была невеста. Когда я увидел тебя, я подумал о ней. Она тоже была еврейкой. Её увезли, когда меня не было, а потом

было поздно. Гитлер изменил всю историю Германии, нам никогда не простят то, что мы делаем. Я против тех, кто убивает людей, евреи или русские. Это не моя война. Мне удалось договориться, и завтра ты поедешь со мной. Я не хочу, чтобы тебя убили. Я подвезу тебя к линии фронта, и ты пойдёшь к своим. Если повезет, – будешь жить. Утром, сидя в машине, Ганс разглядывал Розу. Она действительно напоминала его Илону. Такие же голубые глаза, светлые волосы. Впереди показались маленькие домики, и Ганс свернул в сторону небольшой рощи. До линии фронта осталось несколько сот метров.

Выпущенный чьей-то рукой снаряд снова изменил судьбу Розы. Он разорвался недалеко от машины, и взрывной волной Розу выбросило на дорогу. Прийдя в себя, она увидела лежащего под автомобилем Ганса. Его голова была в крови. Она вытащила его и, разорвав платье, перевязала рану.

Потом посмотрев в сторону линии фронта, Роза взвалила Ганса на маленькие плечи и потащила его, сгибаясь от непосильной ноши. Через несколько минут её догнал немецкий патруль. Увидев раненого офицера, солдаты положили его в машину и рядом усадили Розу. На все вопросы Роза кивала головой, и солдаты, поняв, что она контужена, оставили её в покое. В лазарет её не пустили, и она спряталась в небольшом полуразваленном домике. Утром, придя в себя, Ганс спросил, куда делась девушка, которая была с ним в машине. Врачи разводили руками, но кто-то сказал, что во дворе стоит какая-то девушка, которая не отвечает на вопросы. Розу привели к Гансу. По его просьбе ей выдали белую форму, и она опять стала медсестрой. Целый месяц Роза ухаживала за Гансом. Русская армия наступала, и госпиталь перевели в небольшой город на границе с Германией. Ганс поправлялся, и ему разрешили съездить домой. Начальник госпиталя, по просьбе Ганса, дал Розе документ, подтверждающий, что она медсестра и сопровождает раненого офицера в отпуск. Дома он рассказал матери о Розе и что она для него сделала. За время, проведённое вместе с Розой, Ганс долго думал об их отношениях и спросил, будет ли она его ждать до окончания войны. Роза молчала. Хорошо, сказал Ганс, ты будешь жить здесь и ждать меня. Потом решим. В один из вечеров Ганс зашёл к Розе в комнату и остался там до утра. Через пару дней Ганс уехал на фронт. Война кончилась, и русские солдаты заполнили город. Роза долго не решалась, что делать, потом попрощалась с женщиной, которая могла заменить ей мать и пошла к своим.

Она рассказала, что попала в плен и её отправили на работу в Германию, где она работала домработницей у богатого немца и назвала фамилию Ганса.

Розу отправили в тыл и долго допрашивали. «Хавер» Сталин не забыл Розу, которая не успела поблагодарить его за оказанную честь, и

наградил её десятью годами каторги. Сталин предателей не любил и вообще он никого не любил, но об этом тогда ещё никто не знал.

Первый год был самым тяжёлым. Холод, голод, издевательства охраны и постоянный вопрос: за что? Иногда Роза оправдывала отца всех народов и даже написала ему письмо, где желала ему здоровья и долгие годы жизни. Но её вызвали и сказали: товарищ Сталин не будет читать писем предателей и пригрозили Розе. Потом один врач помог ей, и её направили работать медсестрой. Розе стало легче, и дни полетели. А за ними месяцы и годы.

Однажды Розу и врача направили в соседний лагерь, где находились немецкие пленные, для оказания помощи получившему травму солдату.

Проходя вдоль барачных, Розе показалось, что она увидела Ганса.

Дав одному охраннику четыре пачки папирос и немного сахара, она узнала, что Ганс находится рядом, всего каких-то несколько сот метров. Прошёл год, и Роза, только ей известным путём, добилась встречи с Гансом. “У вас есть всего пять минут”, – сказал охранник и вышел из барака. Они стояли и смотрели друг на друга...

Тётя Роза никогда и никому не рассказывала, о чём они тогда говорили. Товарища Сталина не стало, и осиротевшие дети возвращались домой. В тысяча девятьсот пятьдесят четвёртом году выпустили и Розу. Прошло сорок восемь лет. Дети, внуки, друзья отмечали восьмидесятилетие Розочки. Седая женщина с любовью смотрела на свою семью. Муж умер недавно, но она не чувствовала себя одинокой, она была любимой и нужной всем человеком. Старший сын, подняв бокал, предложил выпить за маму и добавил, что следующий её день рождения семья будет отмечать в Германии. Роза знала, что рано или поздно вопрос об отъезде будет поднят, но о Германии никто никогда не говорил. Она встала и вышла в свою комнату. За столом наступила тишина. Все знали, где провела Роза девять лет, но не могли понять за что. Через пять минут она вышла и положила на стол несколько писем. «Это от Ганса. Он умер три года назад. Я никогда не рассказывала вам всей правды. Теперь слушайте», – и Роза опять превратилась в молодую медсестру. Она опять тащила раненого Ганса. Она вспомнила, как он зашёл к ней в комнату и остался, как они стояли в холодном бараке, клялись в вечной любви и в течении пяти минут пытались переписать свою судьбу. Но судьба была против них ...

В тысяча девятьсот девяносто четвёртом году Роза посетила могилу Ганса. Вспоминая немецкие слова и путая их с идиш, она рассказала ему о своей жизни, о детях и о том, как она счастлива, что успела ещё раз поговорить с ним.

Ей было восемьдесят шесть лет, когда она умерла. История её жизни осталась в памяти тех, кто её любил. Теперь история маленькой Розы и Ганса, которых я никогда не видел, живёт и в моём сердце.

ДАВИД ЯНОВСКИЙ

*К 60-летию
разгрома фашизма*

НАШЕ ДЕТСТВО

Нас война зацепила лишь краешком,
Мы не мёрзли в окопах под пулями.
Нас война раскидала, как камешки,
Ей в глаза лишь мельком взглянули мы.

В нас война – подземное озеро,
Страх и холод – вода отравлена.
Прокатилась война бульдозером,
Наше детство в лепёшку раздавлено.

ОСКОЛКИ ПАМЯТИ

Распускаются в небе бутоны
Белых роз – зенитных снарядов,
Звонко хлопают, как пистоны,
И осколки падают градом.

Пальцы помнят шершавость зазубрин,
Ощущают тепло этой стали.
Киев мой неуютен, неубран,
Улыбаться все перестали.

.....
Нас везут в грузовой барже,
Над нами фанерная крыша.
Мы плывём третий день уже
И близкие взрывы слышим.
Я к маме жмусь боязливо,
Бомбы падают где-то рядом.
Вода после страшных взрывов
По фанере гремит водопадом.

.....
От крутых берегов Днепра
Труден путь до далёкой Казани.
Ночью холод, а днём – жара,
Не дорога, а наказание.
Поезд тащится словно кляча,
Снова немцы бомбят и стреляют.
Мне очень страшно, я плачу.
Мама молча меня обнимает.

ШОФАР

Основным занятием наших предков в древности было скотоводство. Неудивительно, что самой богоугодной жертвой у них был баран, а главным музыкальным инструментом в богослужении стал бараний рог – шофар.

Считается, что трубные звуки шофара – это молитва, которая мгновенно доходит до Бога и она действенной любых слов. В последнем месяце еврейского года, элуле, ежедневно трубят в шофар, чтобы пробудить души от сна и подготовить к покаянию – тшуве. В последний день элула в шофар не трубят, чтобы подчеркнуть особое значение первого дня нового года – Рош Гашана. В этот день Бог судит все дела людей за прошлый год и определяет судьбу каждого в новом году.

В этот день опять трубят в шофар, что имеет особое мистическое значение.

Считается, что это молитва о прощении, в которой участвует не только все ныне живущие евреи, но и все предки, начиная от Авраама, а также все поколения евреев, которые будут жить после нас.

В последнем месяце, элуле,
Трубили трепетно шофары,
Чтоб наши души не заснули.
Так год заканчивался старый.

И завтра вновь шофара звуки
Нам всем напомнят о тшуве
И снова мы возденем руки
К Нему в небесной синеве.

И снова из последних сил
Просить мы жарко будем Бога,
Чтоб он нам все грехи простил,
Хоть прегрешений наших много.

И Бог простит. Звук рога звонкий
Объединяет весь народ,
И нас, и предков, и потомков
Из века в век, из рода в род.

НОВЫЙ ГОД

Сегодня радостно встречаем
Мы Новый год, Рош Га Шана.
До дна за счастье выпиваем
Мы рюмки, полные вина.

Вот рыба с головой на блюде
Нетерпеливо ждёт гостей,
И это знак того, что будем
Мы в голове, а не в хвосте.

А рядом с праздничною чашей
Лежит у нас гранат отборный,
Чтоб множились заслуги наши,
Как красного граната зёрна.

Мы отмечаем Новый год
И, помня древние порядки
Мы яблоки макаем в мёд,
Чтоб год счастливым был и сладким...

Сегодня Книгу Жизни строго
Заполнит Господа рука.
Пусть даст он всем нам счастья много.
Шана това уметука.

У КАМИНА

Нас греет ласково камин,
Струится по поленьям пламя,
Весёлых огоньков кармин
Моргает яркими глазами.
Но скоро догорят дрова,
Перегорят, померкнут угли
И как прощальные слова
Покроют всё седые букли.

ВОСТОЧНЫЕ МОТИВЫ

Счастье – легче пера,
Не поймать его на лету.
Горе – словно гора,
Не обойти за версту.

Одной рукой не развязать узла,
Без друга жизнь безрадостна и зла.

Не бывает волна в океане одна –
Пей скорее за рюмкою рюмку до дна.

В миг встречи начинается разлука,
Промчится время как стрела из лука.
Лови мгновенья, когда рядом друг,
Цени тепло его надёжных рук.

Я – только рупор голоса благого,
Я – лишь перо в неведомой руке.
В душе незримо прорастает слово,
Чтоб расцвести потом на языке.

ОЧЕРЕДЬ

Серой дымкой плавало зябкое утро, намечая новые разборки и очереди. Братки вооружались.

В воздухе пахло не только грозой, но и порохом. В рожке-магазине модифицированного автомата Калашникова возникла неожиданная свара среди стоящих в очереди патронов.

– Мужики! – взвизгнул коротенький патрончик, только что вставленный в магазин прокуренными пальцами ново-русского амбала. – Глядите, впереди кто-то без очереди рвётся? Так нам до ствола к ночи не добраться.

Очередь насторожилась. Все повернулись к её началу. И верно, к патроннику протиснулся старый позеленевший патрон с тусклой, поцарапанной пулей.

– Слышь, дед, ты чего? Совесть, ветеран хренов, потерял. Вишь, сзади тоже не «холостые»!

– Да убери ты свою чекистскую ксиву. Мало ли, что ты от расстрельной команды остался. Много вас тут престарелых да недострелянных ходит. Я, может, тоже инвалид от рождения, со смещённым центром тяжести. А ещё в каком теле кувыркаться придётся, да вот стою.

– Эти ветераны прицельного полёта по всем автоматным магазинам с утра так и шастают.

Приключений на свою пулю ищут. Сидели бы дома со старыми капсюлями, всё одно от них одни осечки. Так нет же, тоже норовят.

Старый патрон смутился и заковылял к хвосту очереди: спорить с молодыми современными пулями было бесполезно. Да и порох в нём был уже не тот, что шестьдесят лет назад.

– Как вам не стыдно? – тихо сказал почти новый, но слегка закопченный патрон. – Он ведь на великой войне побывал, боеголовкой своей рисковал. Не то, что вы, учебные....

– Болван! Мы самые настоящие, боевые! Это со складов минобороны нас продают за учебные, – с обидой вставил другой патрон.

– Ещё один выискался! Защитничек! У самого ружейное масло на губах не обсохло, герой нестрелянный!

– Ты героев не трожь, контра, – заступился потемневший от старости боевой патрон, пока ты тут по ящикам с гильзами валялся, мы там, в Чечне...

– А мы вас туда не посылали. Привыкли всех «мочить в сортире», вот и молчали бы, бандюги...

Обстановка в очереди накалялась. К тому же среди патронов пошёл

слух, что сегодня стрельбы не будет, то ли что-то там в ударно-спусковом механизме случилось, то ли боёк забастовал.

— Сograждане, братья! — тонким голосом пискнул трассирующий патрон с оранжевой полоской на пуле. — Доколе это будет продолжаться? Демократия в опасности! Все наши прежние стрельбища прикрыть пытаются. Скоро совсем разучимся свободно летать. Усиливается на нас давление пороховых газов! Надо действовать смело и решительно. Пробьёмся через заграждение пуленепробиваемых жилетов. Мы, оранжевые трассирующие пули, осветим народам путь во всех горящих точках. Пусть даже сами сгорим за свободу полёта к цели!

— Ведь цель у нас одна: уменьшить поголовье инакомыслящих, не согласных, сопротивляющихся и...

— Есть среди нас и такие, что нормальными боеприпасами прикидываются, а на самом деле являются представителями отравленных пуль от «ихнего» автомата УЗИ, — объявил некто в гильзе от трёхлинейки образца 1913 года, — в них, проклятых, причина всех наших промахов. Бей пыжей — спасай Рассею!

— Надоело вас слушать, пустострелы. Вот уже пятнадцать лет сплошные пиф-паф, пиф-паф. И все в белый свет, как в копеечку. Вот были времена при Великом Стрелке Всех Народов! Тогда патронов не жалели, стреляли кучно. И цены на порох постоянно снижали, а не повышали до уровня ядерного заряда.

— Ишь, по чему затосковал, — проговорил молчавший до того, стоящий в конце очереди патрон, — а вдруг тебе скажут: «Лети вон в того парня, он враг Переделки и Перестрелки!»

А он окажется бизнесменом, на заводе которого тебе гильзу делали...

Спор этот мог бы продолжаться ещё долго, если б на спусковой крючок не лёг прокуренный палец амбала. Раздалась команда: «Очередями — огонь!» — и все пули, одна за другой, со свистом и грохотом вырвались из ствола автомата.

Куда они летели, в кого?..

К 60-летию разгрома фашизма

ПАМЯТЬ

Белоснежное здание «Мюритц Клиник» врезалось в осенний зелёно-золотистый массив Национального парка, словно корабль, устремившийся к безбрежным водам плещущегося вдали озера Мюритц. Этот «сказочный корабль» нёс на своём борту сотни пожилых и совсем уже старых людей, жаждущих исцеления от многочисленных недугов, дарованных им судьбой годами прожитой жизни.

Единственный русский в окружении немцев, я испытывал чувство Робинзона, заброшенного на необитаемый остров. Мой немецкий язык не давал никаких шансов завязать общение с кем-либо из обитателей «кают». Правда, два-три инвалида на костылях, встречающиеся со мной на процедурах или в столовой, приветливо улыбались, роняя приветственные фразы.

Однажды с одним из них я повстречался, прогуливаясь по берегу озера. Был солнечный день.

Роняя золотую листву, октябрь дарил свои осенние подарки: тепло и ласкающее дуновение нежного ветерка. Мы поздоровались и, наконец, представились друг другу:

— Клаус Ришке, — произнёс крупный седой мужчина, протянув огромную ладонь, и тут же, переходя на русский язык, продолжил: — Я знаю, что вы из России, поэтому так нам будет легче общаться. Я жил и учился в ГДР, работал в России, поэтому могу говорить по-русски.

— Я приехал в Германию с Украины, из Киева, — сказал я.

— О, Киев! Прекрасный город. Мне довелось там бывать в семидесятые, я приезжал в командировку на строительство Чернобыльской АЭС.

— Вы помогали строить этот атомный монстр, а я был в числе ликвидаторов всемирной катастрофы. Мы оба выжили, чтобы судьба подарила нам встречу здесь, где немецкие врачи спасли нас, прооперировав наши сердца, — добавил я.

— Мы оба, выжившие дважды. И тогда, и теперь к нам благоволила судьба. Вы верите в судьбу? — спросил Ришке.

— Да, конечно. Мне кажется, что вера в судьбу подарила мне жизнь и в годы Второй мировой войны...

— Вы моложе меня. Вам, очевидно, не довелось пережить то, что пережил я. Поэтому вам будет трудно меня понять, но я расскажу один эпизод из своей жизни, раз уж мы заговорили о судьбах. Многие люди до сих пор не могут простить немцам те зверства, которые имели место во время войны. Они до сих спрашивают: почему, мол, мы, немцы, всё это совершили. Разве мы не знали? Конечно, знали. Знали даже те, кто притворялся перед жёнами и детьми и перед собой, что не знает. Помните, как после войны любой немец уверял вас, что он всегда был против зверств, против того, как поступали с евреями, против нападения на другие страны. Они лицемеры? Нет, лицемерие — не главное зло. Боюсь, у него нет наименования ни на одном языке. А о совести здесь говорить не стоит. Я видел мужчин с чувствительной душой, и эти мужчины били сапожищами по беззащитным телам младенцев и вколачивали кованные каблуки людям в почки.

— Немало таких примеров можно привести и с нашей стороны, — перебил его я. — Да и сама победа была пиррова, поскольку она только ук-

репила правящий преступный режим и принесла народу новые испытания. Вернувшиеся из плена были названы предателями и из немецких лагерей прямиком попадали в советские. В результате Победы надолго попали в большевистское рабство многие народы Европы.

— Возможно, вы и правы, оценивая Победу. Я начал этот разговор только о себе, о своём поступке, который не даёт мне спокойно жить уже более шестидесяти лет. Это тоже вопрос лицемерия или совести?!

Я в те далёкие годы учился в университете. В нашей группе были две девушки — Магда и Ирэна. Они были всеобщими любимцами. Жили своей верой в человека, убеждённо в то, что людей можно перевоспитать самопожертвованием, личным примером. Думаю, что последней каплей, переполнившей чашу их общественного возмущения стали слова фюрера о том, что «наша эпоха ознаменует начало самой безжалостной борьбы за мировое господство».

Эта борьба фактически ведётся между двумя нациями — немцами и евреями. Евреи — это супернация, которая уже повелевает миром. Немецкий народ — новый избранный народ! А два народа не могут сосуществовать. Один из них должен быть уничтожен. Или мы, или евреи!

Евреи — это враги всего человечества. Евреи — создание иного Бога. Евреи — это существа очень далёкие от всего земного. Они из другого мира, захватившие нашу планету!»

Мне думается, что именно тогда они стали тайком слушать запрещённые радиопередачи и писать тексты листовок. Я был против их плана с самого начала. Силой их веры я не обладал.

Даже наши поражения на востоке и на Западе не заставили меня прийти к выводу, что не достаёт лишь какого-то сигнала, чтобы все люди поднялись против фюрера и его банды.

«Разве ты боишься смерти? — спрашивала Магда. — Я люблю жизнь не меньше любого из нас.

И Ирэна тоже. Но жить только ради того, чтобы жить? Поэтому всё и идёт, как идёт, потому что каждый думает о своём благополучии. Все хотят выжить... Да, это заколдованный круг. Но из него необходимо вырваться. Любым способом, любыми средствами!»

— С помощью наших жалких листовок? — задал я вопрос.

— А разве велик камень, с которого начинается камнепад? — возразила Магда. — Ты вовсе не обязан быть с нами.

— Я приду, приду ровно в десять.

Я взял пачку листовок, узнал, что мне нужно стоять на лестничной клетке, откуда потом будет легко скрыться. Ночью я почти не спал. С трёх часов я только и думал о том, что точно приду и швырну листовки, чтобы студенты по пути в аудитории их подняли. Я знал, что Магда и Ирэна будут наблюдать за мной. Я лежал в постели и ненавидел каждую уходящую минуту, ибо понимал, что стал на опасный путь, веду-

щий к смерти. Неужели это то, чего ждут люди: выступления горстки студентов, которые в здании университета в городе средней величины огромного государства разбрасают антиправительственные листовки? Решит ли это такие вопросы, как война и свобода? Я думал, что наша акция не поможет людям, а наша кровь не переполнит исполнинскую чашу терпения. Куда вероятнее, что мир продолжит своё движение вопреки нашей ничтожной попытке сдвинуть его с места: в схватку вступили огромные человеческие массы, целые города стёрты в порошок, и в этой неслыханной борьбе мы намерены бросить на весы человечества несколько пылинки. Во имя кого мы приносим себя в жертву? Во имя десятка студентов и нескольких профессоров, которые в душе сочувствуя нам, вслух будут отрицать всякую связь с нами? Я с трудом встал, ноги мои налились свинцом. Принял душ, побрился, осознавая, что делаю это последний раз в жизни. Времени оставалось ещё два часа. Не в силах больше находиться в квартире, я схватил папку и выбежал на улицу.

Удивительное чувство полноты жизни переполнило меня, когда я вошёл в аллею парка. Я упал на траву, наслаждаясь запахом земли, лучи солнца согревали меня. Я снова подумал о Магде и Ирэне, их лица, которые явились в моём воображении, были невозмутимы и целеустремленны.

И вдруг раздался удар церковного колокола. Я вскочил. Мне показалось, что я проспал. Нет.

Я вскочил в подошедший трамвай. Стоя на площадке, тяжело дышал. Трамвай остановился около университета. Я спросил себя: а хватит ли у тебя сил? Или у тебя подогнутся колени и листовки в папке потянут тебя к земле и ты сдашься, потому что твоя жалкая душа откажется подчиниться твоей воле?.. И я остался стоять на площадке вагона. Я помню каждый миг этого последнего отрезка пути когда сворачивая, трамвай оставил позади университет, где находились сейчас Магда и Ирэна. Я пробился к двери вагона. Какой-то мужчина что-то прохрипел и выругался: «Не прыгайте, вы ломаете себе ноги». Но я спрыгнул. Резко затормозил автомобиль, шедший за трамваем. Его бампер ударил меня. Боль пронзила всё тело.

Папка валялась рядом в канаве. У меня не хватало сил поднять её.

Хромая добрался до тротуара. Едва доплёлся до университетской ограды. Держась за неё, я повернулся к возмущённой толпе, взглянул людям в глаза: вот те, ради которых я должен был принести себя в жертву... В воздухе раздался вой сирены. Из здания появились огромного роста мужчины в чёрных костюмах и несколько эсэсовцев – они вели связанных наручниками Магду и Ирэну.

Я попытался отвернуться, руки не повиновались мне. Наши взгляды встретились...

«Листовки!» – иронически сказал кто-то и расхохотался. «Повесить их надо!» – громко сказал другой. Девушек повели к полицейской машине, они смотрели поверх окружающих, они словно впитывали в себя мир в его солнечном обрамлении. Потом поднялись в машину и она тронулась. Я остался стоять у ограды...

Прошло уже более полувека, я всё ещё ощущаю на себе непередаваемый взгляд девушек, канувших в вечность...

– Да, жестокая штука – память! Мы не можем забыть и простить себе многое, что случилось в прошлой жизни, – сказал я. – Правда, многие стараются забыть то, что было в сороковых. Может быть, поэтому сегодня национал-социалисты маршируют у Бранденбургских ворот. История повторяется, когда у людей становится коротка память.

– Не могу не согласиться с вами, – произнёс Рашке с грустью, – они снова поднимают головы.

– Особенно это ощутимо сейчас, накануне 60-летия разгрома нацизма. В чём величие Победы?

В том, что жизнь солдат никак не ценилась? И маршал Жуков положил на Зееловских высотах сотни тысяч солдат и офицеров. Легенда о мужестве нужна была кремлёвским «стратегам», чтобы человек не задумываясь шёл под танки, ложился на амбразуры, совершал воздушные тараны? В этой связи, я думаю, что «красная чума» равна «коричневой».

– И в этом вы абсолютно правы, – перебил Рашке, – Уверен, что и без военного поражения нацистский режим долго бы не продержался. Вспомним хотя бы заговор полковника Штауфенберга против Гитлера 20 июля 1944 года...

– Как не продержался сталинский режим после смерти «отца народов», – добавил я.

Мы молча подошли к берегу озера Мюритц. Лёгкий бриз гнал его прозрачные волны, которые, словно ушедшие в небытие годы, всё дальше и дальше удалялись от нас.

К 60-летию разгрома фашизма

ЛЕГЕНДА ИЛИ БЫЛЬ?

В преддверии годовщины окончания войны и разгрома фашизма в посольстве Украины в Берлине состоялся торжественный приём. На фоне штатских гостей выделялась группа офицеров ряда иностранных государств. После официальной части и концерта гости отправились в зал приёмов, к сервированным столам. Я оказался рядом с немецким полковником и его супругой. Он был представителем бронетанковых

войск, являлся сотрудником центра анализа и перспективного планирования бундесвера.

Руди Фромм – представился он. Я назвал себя, поведав о своей писательской судьбе. В тот вечер мы говорили о многом: о суровых годах войны, о героизме и самопожертвовании русских солдат и офицеров. Вдруг он ошарашил меня вопросом:

– Вы когда-нибудь слышали историю о русском танке, который в 1942 году видели не то в Тюрингии, не то в Магдебурге, не то в Шверине?

Я ответил, что не знаю о чём конкретно идёт речь, но в 60-е годы я занимался историей слепого танкиста, который после войны жил в Киеве и стал героем моего киносценария «Повесть о танкисте».

– А я прочёл историю русского танка в архивах рейха, – продолжил Фромм. – Там, по свидетельству очевидцев, шла речь о том, как в упомянутом году русский танк шёл по немецкой земле, обходя населённые пункты, громяхая гусеницами, и в его башне стоял русский парень с совершенно седой головой и обожжённым лицом. То, что я услышал дальше, походило на фантазию, на героическую легенду о том, что в годы войны фашисты испытывали свои противотанковые средства на советских танках Т-34.

... Первые русские танки появились на тыловых немецких полигонах в конце сорок первого года.

Их доставили по специальному указанию командования. С вмятинами на корпусе, с обожжёнными боками, они напоминали солдат с боевыми ранениями. День и ночь на полигонах, в мастерских и лабораториях офицеры вермахта, инженеры, конструкторы и учёные ходили вокруг танков, взбирались на них, шупали, мерили, снимали отдельные части, заполняли таблицы с результатом анализов и измерений. Конструкторские бюро и лаборатории военных заводов рейха работали над выполнением особого приказа фюрера: срочно создать новые танки, более грозные, чем советские. Пока в одних конструкторских бюро рейха ломали голову над созданием нового «арийского» танка, в других искали эффективные методы борьбы с русскими танками: новые противотанковые гранаты и электромагнитные мины, противотанковые гранаты, начинённые газами, бронебойные снаряды. На одном из полигонов это оружие испытывалось на русских танках. Полигон, расположенный в глубоком тылу, время от времени превращался в участок фронта, где происходили настоящие танковые бои. С одной стороны в них участвовали немецкие солдаты и офицеры, которые проходили боевую подготовку, с другой – пленные советские танки и... танкисты, доставленные из лагерей смерти.

...Шпальный завод Эйхе стоял на глухой железнодорожной ветке, окружённый густым лесом.

Фашисты здесь содержали команду военнопленных бойцов и млад-

ших командиров. Самым старшим по званию среди них был седой молодой парень с искажённым от ожога лицом. Пленные называли его Седой. Он нужен был здесь всем.

– А что, Седой, не сорваться ли нам в побег? – спрашивали его.

– Подадут состав под погрузку, караул повязать да на поезде махнуть! – разжигали товарищи воображение друг друга.

– Операция сложная, но невозможного нет ничего – соглашался Седой. – Это надо продумать.

Но продумать свой план они не успели: к концу сорок второго года с железнодорожным составом, поданным под погрузку готовых шпал, на завод привезли новых пленных, а прежних построили, отобрали танкистов, пересчитали, погрузили в вагоны и увезли. Куда? Ночь продержали их где-то на запасных путях – затем повезли опять. На одной из стоянок стали стучать в стену вагона, просить воды. Солдаты с платформы прокричали, что скоро конец пути, где ждёт их еда и питьё...

Заполночь их привезли на место. Обычной лагерной полиции на платформе не было. Команду принял немецкий конвой. От станции до обнесённого колючей проволокой лагеря было всего полтора километра. У ворот лагеря провели перекличку и оставили ожидать строю. По морозному воздуху от лагерной кухни доносился дразнящий запах мясного варева. Но продрогших и голодных, их продолжали держать до сумерек на ветру и морозе. Наконец, стали впускать в баню. Просторное, нетопленное помещение раздевалки с бетонным полом было едва освещено карбидной лампой. Уже раздетые, они сдавали одежду в дезинфекцию.

– По-военному, живо, живо, обед простынет, пока будете тут размышлять, – по-русски крикнул немецкий солдат...

На следующий день на полигон под конвоем привели Седого и ещё двоих новеньких в полосатой лагерной форме, молодых и настороженных. Вдруг их лица просветлели, когда они увидели советский танк Т-34. Один из узников не удержался и ласково погладил рукой холодный металл, словно встретил друга после длинной разлуки. Немецкий офицер, заметив это, ухмыльнулся.

– Карашо, квалитет! – сказал он. – Ми уважайт русски танки. Ви понял задач? Пленные кивнули.

– Ви занимайт панцер и двигайт туда, – офицер указал направление. – Нахдем, потом ви пово-ра-чивайт рехтс, направо, проволока, вода, канава унд зо вайтер, и ви ходит назад на это место, – притопнул ногой там, где стоял, – а мы будем посмотриет. Нахдем, ви получайт свобода.

Русские переглянулись. Седой рывком вскочил на танк и открыл люк. За ним – второй и третий. Несколько мгновений они стояли, выпрямившись в полный рост и смотрели на немцев сверху вниз, гордо и весело, словно этот бронированный островок был клочком родной

земли во вражеском море.

– Шнель, шнель! Бистро! – крикнул снизу офицер.

Парни, словно по команде, вдохнули полной грудью полевой, смешанный с запахом металла и горячего, воздух полигона и скрылись в машине. С лязгом хлопнула крышка люка. Внутри что-то застучало, танк зачихал, закашлял, окутался едким сизым дымом, дрогнул, повернулся направо, затем налево и, наконец, медленно тронулся. Офицеры на наблюдательных пунктах прильнули к биноклям, раскрыли планшетки, приготовили карандаши, чтобы фиксировать то, что сейчас произойдёт. В ожидании сигнала застыли у противотанковых орудий артиллеристы, которым предстояло расстрелять одинокий танк. Солдаты в тщательно замаскированных окопах готовили к бою противотанковые гранаты. На соседнем аэродроме в кабину «Юнкерса» уже поднялся лётчик...

Русские парни, сидевшие в безоружном танке, этого не видели. Машина двигалась по полю сначала нерешительно, на малой скорости. Затем, словно разгадав коварный план врага, за несколько десятков метров до того места, куда в него должен был угодить первый снаряд, танк вдруг резко развернулся вправо и быстро набрав скорость, пошёл по дуге. Затем объехал полигон, как бы проверяя, какие сюрпризы уготовили ему враги и замкнув круг, пошёл по прямой туда, откуда начал свой путь.

Фашисты всполошились. Затрещали полевые телефоны. Что делать? Но оказывается, зная характер русских, немцы предусмотрели подобный оборот своей затеи.

– Спокойно, – донеслось с командного пункта. – Действуйте по варианту два!

Первая граната разорвалась справа. Осколки и комья земли забарабанили по броне. Второе облако разрыва взметнулось впереди. Машина резко повернула влево когда раздался ещё один взрыв. Кольцо сужалось. Танк прибавил скорость. Впереди, в кустах, блеснула сталь орудия.

Почти в упор хлестнула огненная струя. Танк не остановился, выравшись из облака дыма и пыли, на полном ходу он устремился к кустам, где было спрятано орудие. Мелькнули перекошенные ужасом лица артиллеристов. Это не было предусмотрено ни одним из вариантов.

Стальными гусеницами танк вдавил в землю орудие и прислугу и, не замедляя хода, понёсся дальше. Теперь уже всполошились и на командном пункте:

– Герр оберст, эти русские поступают не по плану.

– Вижу, – коротко бросил полковник.

– Но, герр оберст, у нас уже есть потери.

– Знаю. Вы думаете на фронте у вас не будет потерь? Здесь идёт бой.

Полигон превратился в поле неравной битвы безоружного Т-34 с многочисленным противником, вооружённым до зубов новейшими средствами борьбы против танков. Над полем появился «Юнкерс». Его пилот ещё не знал, что произошло на полигоне и спокойно готовился нанести по танку решающий, уничтожающий удар. Он спикировал раз, другой. Кончился боезапас. А неуязвимый танк, оставляя за собой длинный шлейф дыма и пыли, уходил за пределы полигона и вскоре исчез из виду...

Полковник Фромм умолк.

— Это легенда? — спросил я

— Это правда, — ответил он.

— Откуда вы знаете об этом?

— Мне рассказал эту историю старый пенсионер-майор, участник тех событий.

— В нацистской Германии было много больших и известных полигонов. Много было и засекреченных. Где, на каком из них устраивались «учебные бои» с русскими танкистами? Молчат документы, молчат другие очевидцы и участники. Ещё не все преступления нацистов расследованы, не все виновники разоблачены...

Я подумал: но могут быть и другие свидетели — бывшие узники фашистских концлагерей. Может быть, они что-либо знают о неравном бое советских танкистов на немецком полигоне? Может быть, кто-то из экипажа танкистов-смертников живёт где-нибудь в глубинке России и молчит об этом. Потрясённый рассказом полковника бундесвера, почтившего память советских солдат Отечественной войны, я вышел на улицы мирного вечернего Берлина...

В далёкой дымке, недалеко от Бранденбургских ворот, я увидел стоящий на пьедестале танк Т-34, а на его башне, как в мираже, мне пригрезилась фигура русского парня с седой головой и обожжённым лицом.

ГРИГОРИЙ ВАХЛИС

* * *

Прощай, язык!
Ты требуешь ушей.
Хоть откуси тебя,
хоть рот зашей!

Лепи свою неправду кое-как,
лоскут рябой прикидывай на прорву.
Пусть будет слово, буква или знак,
не в глухоте надорванное горло.

И пальцем тыча, кто-нибудь прочтёт
с тобой, по счастью, понимая розно...
А дней-то, дней, уже наперечёт!
Так научись молчать, пока не поздно.

* * *

Нету силы овечьей поднять головы,
снова слушая тысячелетние речи.
Чахнет воздух и небо смердит человечиной,
древним розовым гноем со вкусом халвы...

Запеваает над нами слепое стекло,
все глядят невиновные в очи невинных.
Кроток пасмурный взгляд голубино-совиный,
а в толпе не упасть и дышать тяжело...

* * *

Будем жить низачем – по привычке,
низачем, как зима или лето...

Прижимается куст бересклета,
низачем – просто насмерть и слепо,
низачем – это слепо и насмерть,
к поржавелой железной ограде.
Низачем, низачем – по привычке
прорастая-вростая-вжимаясь,
низачем – просто жизнь, просто ветер,
пролетая навеки и насквозь
все дома, все кусты, все ограды,

обнимая, во сне обнимая
низачем — бесприютная площадь
и трамвай, что уходит за угол.

* * *

Горчичник уличного фонаря
всё слабее, но каждый раз
это — первого января.
Ровно на год тускнеет глаз.

Уходит шорох, касанье, свет,
догоняя крик в прозрачном лесу.
Ты думаешь — этого нет,
а это значит — тебя несут.

Боль уходит, покидая тебя,
как покидают обжитый дом...
И неизвестный, волосы теребя,
оправляет твоё пальто.

Он ещё ненавидит слово «успех»,
торопливую кровь в сретении жил
за суету, но быстрее всех,
всего быстрее — проходит жизнь.

ЕВРОПА

Роман бессрочный — жертвы с палачом.
И тихо едут на велосипедах,
всё прощено: обиды и победы —
грядущие костры им нипочём!

Не виден синий номер у плеча,
всё позабыто в тишине и холе...
Ещё не раз им переменит роли
роман бессрочный жертвы-палача!

* * *

Окаменелые гроба
пусты, как брошенные соты.
В крапиве, в зарослях осота
лежит архангела труба.

* * *

Слепой и едкий иудейский прах,
несытое безжалостное небо.
Полудня жду в твоих пустых гробах
и вижу сны – иного ты мне не дал.

* * *

Я обращусь в засохшее дерьмо.
Детали неизбежного пейзажа:
бурьяна пепел, мусор у дорог
и человек – не замертво, ни заживо...

* * *

Живу читателем своих стихов.
Я рад, что есть у них читатель!
Считатель кашлей и чихов,
свидетель корчей, спазмосозерцатель.
Они в наличии. Их факт упрям
Я не смолчал в ответ на факт рожденья.
Сверкнёт надсадный крик нетопыря –
то твой глагол в кромешной тьме радеет!
Другого зренья, впрочем, не дано.
И я не внял бы ничему иному...
Что есть по сути заблужденье, но
я буду с этим жить, пока не помер.
Не глаз, скорее – трогает язык
подробности шершавой амальгамы
и близнеца, который вдруг возник,
осклабился в позолочённой раме.
В его очках вселенная. Херня!
Там даже больше – две вселенных!
А он стекляшек поверху в меня
свои уставил пристальные бельма.
В тоске заочной глухонемоты
наличие двоичности наочной,
не «я» и «ты», а просто я – есть ты!
(существованье Божие, короче...)

ЛЕОНИД БЕРДИЧЕВСКИЙ

* * *

Свеча моргнула, бросив взгляд
на неоконченную строчку.
Я этот стих пишу в рассрочку
уже который день подряд.
Я завершаю перерыв
и виновато возвращаюсь,
как будто за безделье каюсь,
глоток последний не допив.
Но озадачена рука —
где завершение сюжета?
Сопротивляется строка,
дразня, как таинство, поэта.

* * *

Кто карликом сжался в груди великана?
Кто вшил в него ампулу вечного страха?
Кто ночью со сна его тащит с дивана?
Кто бьёт по щекам его слёту, с размаха?

Возможно, что грубые в жизни ошибки —
Он их допускал, не подумав мгновенье?
А может быть, дьявол, как лентой липкой,
Его обернул своей мрачною тенью?

Нет. Совесть годами его будоражит.
Но прошлое вроде не рвётся обратно
Ни в шутку, ни в грёзах, ни в помыслах даже...
А совесть пристрочена красной заплаткой.

* * *

Луч, отдохнувши на стекле,
проник к предметам интерьера.
Что за игривая манера
затяять пляску в хрустале?
Затем рванул под потолок
и вынудил задёрнуть шторы,
чтоб легче прочитать я смог
строфу в окошке монитора.

И луч в стихах оставил след
своим навязчивым приветом,
перекроил он весь сюжет:
и осень заменил на лето,
и время возвратил назад,
и устранил все заваyki.
Но в щели штор стремились блики,
пока не кончился закат...
И стало скучно и темно.
И ночь с удушливою силой
задёрнула собой окно
и вдохновение погасила.

И КАЖЕТСЯ, БУДТО...

В цветочной агонии кончились летние дни,
но воздух пропитан дурманящим запахом поля.
Ты хочешь забыться, но сон этот как ни гони,
ты плаваешь в нём, словно пьяный плывёт в алкоголе.

В ночном силуэте разлаписта звёздная тень
и купол небесный в преддверии синего утра...
И кажется, будто так будет всегда, а не день —
так будет всегда, а не только, как кажется, будто.

* * *

По всем тротуарам разбросаны
останки и символы осени —
волнуясь, шумит листопад.
Работают мётлы проворные,
сгребаются осыпи вздорные
вплотную к решётам оград.
Но листья, ветрами гонимые,
в испуге пред новыми зимами
затеяли круговорот...
И я, как они, непоседливый,
осенними схваченный бреднями,
спешу в неизвестность, вперёд.
Мечтаю, чтоб в сумерки зимние,
в антракте меж снегом и ливнями,
не встретив серьёзных преград,

возникла хотя бы иллюзия,
при редком свидании с Музою,
вдохнул я стихов аромат.
И все проглотив неурядицы,
и время, что медленно катится,
я рифмы б собрал наугад.
Преодолевая волнение,
сложил бы их в стихотворение
о том, как шумел листопад.

* * *

Пёстрой лентой выются годы,
подбирая на пути:
сны, мечты, капризы моды,
даже то, что не ахти.
Но до Истины добраться
им, как видно, не дано.
Бег времён машины адской
кружит, как веретено.
Не соткать холщёвой ткани,
чтоб на ней запечатлеть
поколений покаянье,
ну хотя бы обещанье
быть учтивее им впредь.

* * *

Шалой шуткой – таблеткой от смерти
я сбиваю навязанный темп.
Как стажёр в заурядном оркестре,
сам себе, под конец, надоем.
Я считаю, сбиваясь со счёта,
сколько раз в безысходности вис.
Задыхался во время полёта,
без сознания пикировал вниз.
Не закупорить память перчаткой,
годы не успокоить рукой.
Время плавным сальто акробатки
зашвырнёт меня в вечный покой.
Но пока я глотаю таблетки,
тщусь отсрочить последний свой вздох.
Выстрел смерти, бессовестно-меткий,
чтоб меня не застигнул врасплох.

ИЗ ЦИКЛА «БЕРЛИНСКИЕ ЭТЮДЫ»

* * *

Я люблю весеннее лето.
Я люблю осеннюю зиму.
Мне на память эти дуэты
преподносит берлинский климат.

Я люблю в такую погоду,
принимая её, как вызов,
лишь себе самому в угодю,
приносить стихами сюрпризы.

Наслаждаясь погоды пьянством,
наблюдая её гастроль,
заполняя листов пространство
плавной цепью строчек – не боле.

* * *

Когда подходит к сердцу ком,
надоедает мне окрестность,
переношусь я в неизвестность,
что поджидает за углом...
Но отойдя на пять шагов,
я мыслей чувствую банальность
и тороплюсь опять в реальность,
которую принять готов.

ВЕЧЕРНИЕ СТИХИ

Вечер тишину принёс.
Тянет запахом сирени.
И пьянит до сладкой лени
аромат от папирос.

В голове застрял мотив.
И никак не отвязаться
от его галлюцинаций –
может, вправду он красив?

Телевизор отключён.
Не виновен телевизор.
Он для скуки – просто мизер,
он, конечно, не причём.

На столе лежит тетрадь,
вся исчёркана стихами
о любви болонки к даме —
нету сил стихи читать.

Я зеваю. Я не сплю.
Я дневным измучен зноем.
До сих пор не успокоен.
Мысль нелепую леплю.

Как уснуть? Ах, Боже мой!
За бесцельный день досада.
Что, ещё для скуки надо? —
Храп соседа за стеной.

Вот финала камертон:
принесла мне клятву скука,
что как верная подруга,
охранять мой будет сон.

СЮЖЕТ ПИТЕРА де ХОХА

Стоит задумчивая мать — глядит в окно.
На что глядит, нам не понять, нам не дано.
Глаз невозможно оторвать ни вам, ни мне.
Мы надолго запомним мать — портрет в окне.

ОГАРОК СВЕЧИ

N. °

Огарок свечи, что давно догорела
в гранитном шандале, —
свидетель намёков, ночных обвинений,
упрёков, разборов.
Да капля вина, что кровавой слезою
застыла в бокале, —
вот всё, что осталось от клятвенных слов
и взволнованных взоров.

Вы скажете горько: «Как мало, безжалостно
мало и скучно».
Вы правы, но на сердце след не рубцуются
даже с годами, —
проямлю губами, но здраво и робко,
почти что беззвучно, —
огарок свечной, — вот граница, что напрочь
легла между нами.

ЧАСЫ

Часы показывали “ноль” часов. Приближение этого мгновения я чувствую почти интуитивно по нарастающему бешеному ритму моего сердца. Я боюсь его, и оно притягивает меня, как нечто неизбежное. Бегу от него и возвращаюсь к нему.

По какой-то необъяснимой причине, особенно в последнее время, я ощущаю это мгновение – мгновение без “времени”, острее, чем прежде. И почему-то именно в это мгновение память высвечивает годы, когда жизнь моя была иной. Когда совершенно отдельно от основной жизни шла другая, почти подпольная, скрытая от чужих глаз, сумасшедшая.

Эти воспоминания становятся всё более реалистичными, не тускнея, всё дальше втягивают меня в прошлое, как будто это прошлое и есть настоящая жизнь, а теперешняя, вялотекущая, только мерещится мне. И в этом застывшем безвременьи я всё больше склонна к побегу в ту прошлую жизнь, которая держит, не отпускает в эти “ноль” часов.

Мои глаза попрежнему прикованы к циферблату, где застыло время и проклятые стрелки, слегка дёргаясь, не движутся с места. Там, между ними, притаился страх, удерживая их рядом, не давая оторваться друг от друга. И всё же, в какой-то миг, ярость одной преодолевает, она делает шаг, другой, устремляясь навстречу свету, новому дню. Вторая, ошеломлённая, медленно сдвигается с места вслед за первой, чтобы свершить с нею их очередной круговорот, чтобы дать кратковременный отдых моему сознанию, чтобы вновь вернуться к этой точке, когда угаснет новый день и мне опять покажется, что вместе с ним покидаю этот свет и я.

Я слышу свой голос. Он звучит как бы отдельно от меня. Он ироничен и, иронизируя надо мной, напоминает разные нелепые истории из моей жизни. Я пытаюсь ущипнуть себя, думая, что всё это снится мне. Но это не сон. Это – бодрствование во сне, где всё – правда и всё – ирреально, сюрреалистично, за гранью добра и зла.

Наконец, в какой-то момент, я осознаю, что таинственные часы на самом деле находятся где-то глубоко внутри меня, что это они руководят всем моим существованием и что совершенно бессмысленно с ними бороться, пытаюсь что-либо изменить. Что это – данность. И что бы ни привнесла она в мою жизнь – мимолётную радость, горесть ли или чувство ужасной безнадёжности – всё, абсолютно всё покроет ил времени.

ЖАРА

Стоял невыразимый зной, высушивший водоёмы и наши сердца. Даже высокие пальмы, обезвоженные и несчастные, не отбрасывали тень. День тянулся долго, нудно, с тоской ожидая прихода темноты. Но запоздалый вечер не приносил облегчения. В такие минуты не до ласки. Уснуть. Забыться. И будь проклят тот, кто объятием оторвёт тебя ото сна, единственного убежища в этом мире. Медленно засыпая, раздираемый жарой, ты позволяешь себе немного расслабиться. Твои губы по-прежнему приоткрыты. Причмокивая, они пытаются достать хотя бы немного влаги из застоявшегося воздуха с горьким привкусом.

О! Как ты жаждешь чуда. Ты молишь и молишься, просишь у жизни – жизни, но её проза всё больше становится похожей на галиматью и вынести это невозможно.

Всё же природа берёт своё – ты погружаешься в более глубокий сон, где жару уже труднее тебя достать. Ты идёшь навстречу ветру, и его обжигающие струи подхватывают тебя и уносят на берег океана, который ты никогда не видел, но о котором всегда мечтал. Безбрежный. Пугающий. Притягивающий. Ты вслушиваешься в его голос, впитываешь его запах, всматриваешься в небо над ним, не чёрное, а какое-то тёмно-серое, на котором ни одной звезды. Непроницаемая темнота, запах океана будят в тебе желание, и ты чувствуешь, как кто-то вкладывает свою ладонь в твою. Всей кожей ты ощущаешь жар и нежность. Ещё несколько мгновений назад ты хотел насладиться одиночеством. Теперь же тебе уже мало этой любви. Не целомудрия хочется. Не умиротворения – бесстыдства. Вот когда ты можешь стать абсолютно свободным и раскованным. Во сне. Где сон не идиллия, а безумство, с искривлённым пространством и временем.

Ты знаешь, что спишь. Ты управляешь сном и мыслями о нём. Хочется взять своё сердце и бросить его в ночь. Твоя мятущаяся душа летает и ты видишь её, зависшей над океаном. То ли – сказка, то ли – бред, уже не знаешь. Вдруг – крик. Твой ли, чужой – вырывает тебя из сна. Не открывая глаз, пытаешься заставить себя уснуть. Ты хочешь остаться на берегу океана, пусть даже начавшийся прилив засасывает, как трясина. Однако, всё – тщетно. Запах пыли, смешанный с потом, закрывает твои уста. Хочется плакать то ли от жалости к самому себе, то ли от реальности происходящего. Ты боишься пошевелить кончиками пальцев. Тебе кажется, что это нарушит некое равновесие и ты разлетишься на мелкие кусочки. Жара... Жара... Жара...

“ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ...”

Глава из повести «Сёстры»

(Продолжение. Начало в альманахе «До и после» №8)

Школьные годы шли своим чередом. Марьяна и Света, до семи лет не знавшие детского коллектива, довольно быстро привыкли к школе. Учились ровно и легко. Света, привыкшая всегда верховодить сестрой, как-то сразу стала одним из лидеров в классе. Вокруг неё сгруппировалась большая часть учениц, с которыми она быстро сдружилась. Правда, сегодня она дружила с одними девочками, через несколько дней у неё появлялись новые «близкие» подружки, с которыми она секретничала и убегала от вчерашних. Этот процесс часто принимал круговой оборот. Марьяна подружилась со Стёпой, прозвище которой происходило от фамилии. Эта дружба связала их на долгие годы. Марьяна была очень мечтательна. Часто на уроках она вдруг отключалась от происходящего в классе, переставала слышать слова учительницы и, задумчиво глядя в окно, завидовала птицам и их свободе.

В тёплое время года на большой перемене ученицы выбегали во внутренний двор, который сразу наполнялся гулом и напоминал в эти минуты пчелиный улей. Марьяна со Стёпой, облюбовав дерево рядом с забором, сооружали под ним «секрет» из разноцветных стёклышек и листочков. Света, игравшая тем временем с подружками в «скакалку» или «классы», тем не менее зорко следила за сестрой, которую ревновала к этой дружбе и никому не желала отдавать. Издали наблюдая, она видела, как Марьяна со Стёпой, сидя на корточках, окунали лица в цветы, вдыхая их аромат, и о чём-то шептались. Когда звучал звонок дежурного, напоминая о начале следующего урока, Света, специально столкнувшись у входа с сестрой, насмешливо и громко бросала:

– Так чем пахнут цветочки, сестричка? Эх ты! Дешёвое повидло, вот ты кто, – и убегала вперёд.

А после уроков Стёпа с Марьяной находили свой «секрет» разрушенным.

– Это всё Светка, я точно знаю. Почему ты ей всё прощаешь? Почему она вечно командует? Я сама ей скажу, – возмущалась Стёпа.

Марьяна только вздыхала:

– Ну мы же не знаем точно. Она, не она? А если кто-то другой?

Тут во двор вбегала Света:

– Я долго буду тебя ещё ждать? Отвечай потом за тебя...

И Марьяна послушно следовала за «старшей» сестрой.

К концу первого класса, то ли осмелев, то ли из вредности, Света иногда просила:

– Марьян! А Марьян! Я забыла выучить урок. Если меня вызовут, ответь за меня.

Иногда так и случалось – Марьяна выходила к доске вместо сестры. Обман проходил незамеченным, и учительница не понимала значения улыбок на лицах учениц. Девочки были похожи как две капли воды, темноволосые, полненькие, только Света, пожалуй, больше походила на паренька, вертлявая и бойкая. Их мало кто различал.

Незаметно промелькнул первый год учёбы, закончившийся получением обеими сёстрами похвальных грамот за «Успешную учёбу и примерное поведение».

Лето девочки провели в пионерском лагере «Берёзка» под Киевом. Это был их первый пионерский лагерь, в последствии становившийся их домом почти каждое лето. Света чувствовала себя в нём как рыба в воде, а Марьяна скучала. По выходным приезжала Шарлотта Максовна и привозила им свежую клубнику и сладости. Обычно, ожидая приезда мамы, девочки выходили за ворота лагеря, находящегося в чудесной берёзовой роще. Увидев маму вдалеке на тропинке, идущую с электрички, они бежали ей навстречу, и Света выхватывала сумку из её рук:

– Ой, какая тяжёлая. Я тебе помогу, – чем вызывала благодарность матери: «Какая же она внимательная и отзывчивая».

А Марьяна начинала просить:

– Мамочка, ну пожалуйста, заberi меня домой. Я очень скучаю.

– Маленький мой, Марьяш! Почему бы тебе не взять пример со Светы. Отчего вы такие разные? – Впрочем, вопрос был риторическим. На самом деле, Шарлотта Максовна и не понимала насколько различные характеры у её близняшек.

Начало второго класса ознаменовались событиями, некоторые из которых были очень печальны и даже трагичны. Ученицы впервые столкнулись с понятием о смерти. Вначале умерла их одноклассница, мало заметная и часто отсутствовавшая из-за тяжёлой болезни. Второклассницы, совсем дети, были глубоко подавлены, когда их повели прощаться с соученицей. Их детские головы в полной мере ещё не могли осознать «смерть». И хотя в школе и дома часто слышали рассказы о минувшей войне, о миллионах погибших, но это было давно, когда-то и происходило не с ними. Вскоре, поздней осенью, – другая трагедия. Погибли два мальчика, подорвавшись на уцелевшем после войны снаряде на территории Исторического музея, находившегося недалеко от школы. Эти события внесли какую-то неестественную тишину в школу, дети ходили с унылыми лицами, скорее не желая расстраивать взрослых, нежели до конца осмыслив случившееся. Новое же событие взволновало их сердца значительно больше. Школа меняла статус и из женской превращалась в школу с совместным обучением. Половину учениц перевели в другую, бывшую мужскую, школу, и их места заняли мальчики из той же школы. Совместное обучение внесло

как заинтересованность, так и настороженность с обеих сторон. Первое время и девочки и мальчики смущались, присматривались друг к другу. Но длилось это недолго. Процесс адаптации очень скоро закончился и жизнь «покатилась» обычным во все времена курсом. Мальчишки стали задира́ть девчонок, дёргали их за косички во время перемен, иногда и на уроках, подсматривали за ними в раздевалке до и после урока физкультуры, цепляли на спину бумажки с гадкими надписями. Но и девчонки не давали им спуска. Нередко доходило даже до рукопашной. Однажды зимой, в третьем классе, мальчишки подкараулили на улице девочек, гурьбой вышедших после уроков, повалили их в снег и забросали снежками. Девчонки вступили в «бой», но силы были не равны — им пришлось отступить и под улюлюканье мальчишек пуститься в бегство. Света с Марьяной, вжав голову в плечи, тоже были в числе спасавшихся бегством. Они неслись по Рыльскому переулку к Стрелецкой, обгоняя машины, и из-под их ног разлетался снег. Вслед им несло́сь: «У - лю - лю. У - лю - лю». Наконец добежав до дома, они обнаружили, что преследователи давно отстали. У Светы был синяк на лице, Марьяна прихрамывала. Очутившись дома, где тишину прерывал лишь бой старинных часов, висевших у окна в столовой, Света разбушевалась. С яростью разбросав свои вещи, она плакала и кричала, что завтра она всех идиотов поубивает.

Марьяна, пытаясь её успокоить, гладила её по голове, но та отшвыривала её руку:

— Размазня! Тихоня, преданно заглядывающая всем в глазки. Тебе, как всегда, везёт. У тебя нет синяка. Как я завтра пойду в школу?

— У меня нога болит, — оправдывалась Марьяна.

— Нога! Подумаешь, большое дело, — успокоившись сказала Света и стоя начала есть холодный обед, оставленный Шарлоттой Максовной.

— Не ешь холодное, живот заболит. — Собрав разбросанные сестрой вещи, Марьяна пошла на кухню разогревать обед.

— Чистюля, — почти без злобы буркнула ей вслед Света.

Пообедав, убрав за собой и сестрой, Марьяна села делать уроки. Она делала всё спокойно и обстоятельно, её тетради были опрятны и в них пестрели «пятёрки», что тоже вызывало недовольство сестры. Ведь ей самой часто снижали оценку за верно, но неряшливо выполненное задание. Вот и сейчас, быстро разделавшись с уроками, она засобиралась:

— Долго ты ещё? Что ты возишься? Скоро стемнеет. Ты идёшь со мной кататься на санках?

— Светочка, у меня нога болит. Может, не пойдём?

— Притвора! Нога у неё болит! - Хлопнув дверь, она умчалась.

Оставшись одна, Марьяна задумалась: «Почему у нас со Светой что-то не так? Почему мы не дружим, как со Стёпой, например? Почему Света часто меня обижает?» Марьяна очень любила сестру и имела свойство забывать обиды. Она не могла объяснить, но интуитивно

чувствовала, что в их отношениях что-то не так. Родители также не пытались вникнуть во взаимоотношения дочерей, да у них и времени не было. Они полагали: «Накормлены, одеты, хорошо учатся - это главное». Кроме того, девочки дома теперь были предоставлены самим себе. Шарлотта Максовна вернулась к своей профессии и поступила на работу в Архитектурный институт. Домой возвращалась только вечером. Отца они тоже почти не видели. Он по-прежнему очень много работал и, даже если у него не было ночных дежурств, возвращался домой, когда они уже спали. Римма, после окончания Политехнического института, вышла замуж за своего однокурсника и вместе с ним уехала работать в другой город.

Единственным и почти неизменным оставался воскресный традиционный завтрак, когда все они собирались за столом: картошка в «мундире», селёдочка с луком. Когда девочки подросли, Шарлотта Максовна стала поручать им домашнюю работу: сходить в магазин, убрать их комнату. Света любила заниматься покупками, Марьяне оставалась уборка.

На следующий день, едва войдя в класс, Света подлетела к вчерашним обидчикам. Одного толкнула так, что тот отлетел к доске и, упав, разбил ухо о её угол. Другого с силой ударила портфелем и рассекла ему губу. Кому-то ещё отдала ногу и прошипела:

– Сопляки! Ещё раз... Только попробуйте нас тронуть. Увидите...

В классе воцарилась тишина, а Света как ни в чём не бывало прошла к своей парте. В этот момент прозвенел звонок и в класс вошла учительница.

– Что здесь происходит? Что случилось? Я вас спрашиваю! – Она повернулась к мальчикам, у которых сочилась кровь.

– Ничего. Это случайно, – пробормотал один. Другой, потупившись, молчал.

– Случайно? Ну-ка – быстро в медпункт. Я с вами потом разберусь. Все садитесь, – повернулась она к классу. – Всем – «четвёрка» за поведение. И передайте дома родителям: прошу всех прийти в школу. Вместе с вами. Завтра. В шесть.

Это происшествие не имело серьёзных последствий. Было собрание, долгое разбирательство, очные ставки, но мальчишки повели себя по-мужски – драки не было, всё произошло действительно случайно. Между собой они договорились устроить Светке «тёмную». Несколько дней в классе было напряжение – ожидали продолжения конфликта. Но как ни странно, его не последовало, а «героическая» слава о Свете разлетелась по школе. С этого дня она стала лидером и среди мальчишек тоже.

С класса четвёртого или пятого между учениками начал проявляться любовный интерес. Кто-то кому-то нравился, кто-то был уже

«безнадёжно» влюблён. По классу летали записочки с предложениями дружбы и «вечной» любви. Теперь Света уже не возвращалась из школы с сестрой. Её провожали мальчики: то один, то другой. Придав лицу загадочное выражение, она говорила сестре:

– Мы целовались. И вообще...

– Целовались? – У Марьяны округлялись глаза.

– Что особенного? У каждой женщины непременно должен быть любимый мужчина, который должен её любить, дарить подарки, который... Ну, в общем, ты понимаешь...

Она стала краситься. Экономя на школьных завтраках, покупала помаду, пудру и тушь, замазывала подростковые прыщики. Когда это замечали в школе, разражался скандал. Однажды математичка, прекрасный педагог, говорившая с небольшим акцентом, увидев Свету с подкрашенными губами, закричала: «Губи? Ви накрасили губи?! Я Вас буду позорить!» Вызвали родителей – вся школа «рыдала» от хохота.

В отличие от сестры, Марьяна не была столь влюбчива. Ей вообще не нравились сверстники. Они казались ей скучными и незрелыми. В седьмом классе, превратившись из стеснительной и немного закомплексованной девочки в симпатичную четырнадцатилетнюю девушку с пухлыми губками, она впервые влюбилась в преподавателя географии. Он был большим и немного лысым. Когда он входил в класс, то вначале wpłyвали его живот и длинная указка, затем – он сам. Он был очень строгим и все боялись его. Но Марьяна любила географию и эта любовь перенеслась и на учителя. Она никому не рассказывала о своей любви. Каждое утро она вставала, когда все ещё спали, тщательно приводила себя в порядок и чувствовала себя абсолютно счастливой. В мыслях она была уже в школе, в ожидании любимого урока. А после школы, спрятавшись за газетным киоском, она поджидала любимого учителя и следовала за ним на расстояние. На Большой Житомирской он садился в троллейбус и уезжал в сторону Сениного Рынка. Это продолжалось несколько месяцев. Большое и светлое чувство прошло в один день, когда однажды в столовой она увидела, как он жуя языком поправил вставную челюсть. Единственной её большой отрадой были книги, которые она читала все подряд и кино. Сидя в тёмном зале, она представляла себя на месте красавиц в роскошных платьях: то леди Гамильтон, то Карлой Доннёр из «Большого вальса». И это именно её пылко принимал Лоуренс Оливье или другой знаменитый актёр. Она страдала вместе с героинями и проливала слёзы над их судьбами.

В старших классах, когда вошло в моду «туссоваться», они сбегали в «Софию» или на «Владку», как ласково и по-домашнему называли Софийский Собор и Владимирскую Горку, находящиеся вблизи от школы.

Снова – май... Каштаны в «цвету»... Распустившаяся сирень, аромат цветущих яли... И экзамены. Очередные. «Школьные годы чудесные...» Со своими радостями, огорчениями они близились к концу. А впереди была целая прекрасная жизнь...

Осень кончалась,
Но день ещё золотился.
Мне показалось –
Солнца улыбкой пролился.

Старая осень
Косы свои заплетала.
Прятала проседь
В снег. – И себя потеряла.

Дом, которого нет
Вот уже много лет.
Тот, что осиротел –
Без меня сел на мель.

Улицы тоже нет.
В окнах зияет бред.
Осыпана пеплом –
Развеяна ветром.

Стали другими лица.
Родина – “заграница”.
Мне потому не спится –
Запово не родиться.

Прошлое – словно книга.
В сердце моём, как иго.
Лишь отдаётся эхом –
В нынешнем мире этом.

Меня нельзя задеть. Меня нельзя унизить.
Паю я в вышине. – Меня вам не увидеть.

Меня не удивить ни вашим безучастьем.
Ни демонстрируемым – кажущимся счастьем.

В моей душе огонь, горящий ежечасно.
Иного не ищу. – И жизнь моя прекрасна.

Я не умею быть, как все. —
 Вот сердце раскололось.
 Не прикоснуться к бирюсе. —
 Ручья утихнул голос.

Любовь случилась, как недуг. —
 Сжигала, словно пламя.
 Лишь тайны жаль, ушедшей вдруг.
 Давно забытой Вами.

Мы с тобою заодно, —
 Как и прежде.
 Видно так нам суждено —
 Жить надеждой.

Что когда-нибудь опять, —
 На рассвете.
 Будем заново слагать —
 Строчки эти.

И не нужно ничего —
 Только малость.
 Сердце жаждет одного —
 Скрыть усталость.

Твой взгляд — вчерашний день.
 И голос — только эхо.
 Опавших листьев тень
 Как отголосок смеха.

Вновь не испить росы
 Нам из своих ладоней.
 Предвестником грозы
 Звучит мотив вагонный.

НАТАЛЬЯ ГОРБАТЮК

ДОРОГА БЕЗ КОНЦА

Нам долгая память как вечная сила
Судьбою дана без упрёка и страха:
От детского крика из адского Нила
До дерзкого вопля юнцов у Рейхстага.

Когда им затылки невежество бреет,
Мы смотрим на них и от боли немеем.
Мы снова евреи. Мы – те же евреи –
Идём по пустыне, идём за Моисеем

Идём по дороге, проторенной Богом,
И крепнет душа в оболочке телесной,
И в каждом столетье, за каждым порогом
Спасения джём, словно манна небесной

КАПРИЗЫ

«Нам не дано предугадать...»

Ф. И. Тютчев

Предугадай мои капризы,
зима! Запрячь свои снега,
и полувыветшие ризы
не надевай на облака.

И умоляю, не морозь
ни ветки, ни стволы берёз!

Предугадай мои капризы,
весна! Раскисься на лугах,
на поднебесные карнизы
навесь цветные облака.

Замри в предутренней тиши
и даже к лету не спеши!

Предугадай мои капризы,
июльский зной! Пускай рука
не оскудеет на сюрпризы,
рисуй гривы-облака.
И невзначай не осуши
источник благостной души!

Предугадай мои капризы,
осенний день! Взгрустни слегка...
Чтоб небо было видно снизу,
не хмурь, как брови, облака.
Пролей прозрачные дожди,
но с перлым снегом подожди!

Бескомпромиссная природа,
не обессудь! Не прекословь!
Пошли в любое время года
и вдохновенье, и любовь.

Ведь щедрость, как и благодать,
нам не дано предугадать!

• • •

Домохозяйка — и не боле...
Очаг — рубиновая брошь!
Вот только часто вместо соли
хорен добавляю в борщ,
в салат настругиваю ямбы
с капустой сочной пополам,
пылинки собираю с лампы,
как рифмы к будущим стихам.
В воображаемом куплете
под сковородок жаркий треск —
узоры маслом...на котлете.
И строчек выверенных блеск.

Обед готов. И строчек стайка.
Полупоэт. Полухозяйка.

ОЖИДАНИЕ ВЕСНЫ

(два стихотворения)

29 февраля

На ветках птицы-недотроги
сидят, не разжимая век,
им тоже кажется убогим
прилипший к тротуару снег.
Зима раскисла и промокла,
с утра тумана напилась.
И скучный день вползает в окна,
как будто в щели, вместо глаз.

1 марта

Недолго ждать. До понедельника.
Когда февраль, устав от стужи,
нырнёт листком еженедельника
поплакать в мартовские лужи.
Недолго ждать. До понедельника.
И я войду в полосу света,
сменив фантазии бездельника
на вдохновение поэта.

ТРИ РАССКАЗКА

НЕКОРОЛИ И КАПУСТА

Решил дед Михей на капустке квашеной сэкономить. Обдумал её собственноручно квасить – чтоб на базаре не покупать. У соседки рецептом разжился. Настрогая целую бочку. Через неделю отведал – объедение, а не капуста! Сочная, ядрёная, на зубах хрустит, духом яблочным шибает. И дешёво – аж до смехоты. А ведь всю жизнь ею, будь она неладна, на рынке отоваривался...

Обрадовался дед – что хоть к старости обучился.

Обрадовался, а потом решил сосчитать, сколько ж это он рублёв за жизнь свою непутёвую на неё, сердешную, профукал.

Даже страшно подумать, сколько он её, проклятушую, за семьдесят лет слопал. Огромнейшая сумма получилась. На трёхтонку дореформенной селёдки потянет, плюс масла довосенного целую выварку. Да на такие деньги не то что капусту, чёрт знает что каждодневно позволять себе мог!.. Расстроился дед. До того расстроился, что слёг и помер.

А потому на капустке, на квашеной, сэкономить так и не успел. Обидно вдвойне.

ПРАЗДНИК В ДОМЕ

В квартире у дядюшки Яши всегда чисто, на полу ни соринки. Посуду он моет сам, всё остальное делает соседка – конопатая Софа. Вообще, Софа не только конопатая – она ещё косит на левый глаз и прихрамывает на правую ногу. Но зачем об этом говорить? Пусть она будет просто конопатая. За каждую уборку дядюшка Яша платит ей не бог весть какие, но всё-таки деньги...

Дядюшке Яше за шестьдесят. У него большие ноги, ему тяжело ходить. Вообще ему всё тяжело. Даже бриться – и то тяжело дядюшке Яше. У него было несколько инфарктов, иногда ему бывает плохо, то есть очень, плохо, другими словами просто плохо. Когда это случается, он хватается за сердце, из последних сил бреется и звонит конопатой Софе.

Раньше дядюшка Яша убирал в квартире сам. Но это была другая квартира и другая жизнь.

Дядюшка жил со своей женой Жанной – не на Бендорфе, а в городке Полях. Сейчас у него большое сердце, он ничего не может, жена выгнала его. Дядюшка Яша твёрдо знает, что у него никого нет. ... Вот и сейчас дядюшку не на шутку прихватило, он вызвал Софу, побрился и нацепил свой выходной френч. Конопатая уже здесь. Она, не торопясь, протирает журнальный столик. Дядюшка лежит на диване, держится за сердце и причитает: «Софочка, деточка, ну разве так вытирают? Разулыгайте глаза, радость моя! Вон, внизу, целая залежь пыли. Целая залежь!»

Я же вам всё время повторяю: моя Жанна этого не любит! Как только она замечает пыль, у неё портится настроение. Она чихает, у неё

аллергия.

«Поняла...» – кивает конопатая и окунает тряпку в тазик с мыльной пеной.

«Знаете, Софа, я хочу, чтобы вы её знали. Я никому не показывал, а вам сейчас покажу, – продолжает дядюшка Яша. – Откройте губочку. Там должен лежать алибом. Не бойтесь, он не кусается. Откройте на первой страничке. Это моя Жанночка. Сразу после окончания школы. Ну, как? Глаза – режут без ножа, точёный носик, и – ни грамма косметики. А вы только посмотрите на эти губки! Сейчас ей шестьдесят два, она ни капли не изменилась!».

Дядюшка Яша не видел жену двенадцать лет.

«Я хочу, чтобы вы знали её лицо. Вы говорили, что мечтаете о таком пылесосе, как у меня. Так вот, когда вы придёте проводить меня в последний путь, заберите его себе. Мне уже осталось всего ничего. Можете взять отсюда всё, что вам вздумается, so wie so всё пойдёт на свалку, мне очень болит сердце».

Конопатая Софа включает пылесос.

«Подождите включать эту адскую машину, дайте я договорю!»

Софа выключает пылесос, усаживается в кресло и, подперев костлявой ладонью многоступенчатый подбородок, готовится слушать продолжение.

«Когда вы её увидите – а вы её непременно увидите, она обязательно придёт на мои похороны – передайте ей, пожалуйста, от меня...»

«Что вы себя хороните? Все там будем» – недовольно замечает конопатая Софа

«Я говорю – передайте, пожалуйста, ей, что я её любил. Я её очень любил. Я любил её всю жизнь. Я очень прошу вас прийти и передать ей то, что я вам сейчас сказал. И, смотрите, не переслушайте. Её зовут Жанна, вы узнаете её по родинке... Хотя нет... Родинку она могла убрать...»

Лучше по ямочкам. По чудным ямочкам на щеках... И, очень прошу, – старайтесь на совесть. Чтобы всё блеснуло. Я не хочу её расстранивать. Только, ради Бога, не подумайте, что она придёт сюда, чтобы забрать какие-то вещи. Ей не нужно ничего, у неё всё есть. А даже, если нет, она всё равно, ничего не станет брать. Мы прожили двадцать семь лет. Я не уверен, что ей нужна память обо мне. Вы обязательно придёте проводить меня, и обязательно передадите её всё, что я сказал, и в доме всё должно сиять, я вас очень прошу – чтобы не испортили Жанночке настроение».

«Успокойтесь, дядюшка Яша! Даже если это случится, разве не будет вам тогда уже всё равно? – улыбаясь, разглаживает конопатая. – Вам очень нужно будет её настроение?».

«Во-первых, это будет самый большой праздник в этом доме – когда она переступит его порог.

Но дело даже не в том. Просто она подойдёт ко мне, прикоснётся, скажет «прости» и поцелует».

«Ой, и вы так уверены, что она всё-таки придёт?» – не без ехидства интересуется Софа.

«Конечно. Иначе зачем я тогда живу?».

«Отчего все великие поэты заканчивают жизнь самоубийством?» – такую записку получил поэт Гирш Вавский на встрече с читателями в одном из русских салонов города Кобленца. Коварный вопрос исходил от пытливого одессита с безмятежной улыбкой, соколиным взором и козлиной бородой.

Встреча близилась к концу, уже начинались приятные приготовления к достойному её завершению. Из подсобки появилась сияющая хозяйка в пышном голубом парике, напоминающем скафандр. Впереди себя она толкала неуклюжую алюминиевую тележку, окрашенную в защитный цвет. Тележка осторожно продвигалась по салону, мерно подрагивая и горахтя, неуверенно ощупывая колёсиками каждую паркетину, и была похожа на наш советский луноход, бороздящий поверхность пыльной планеты. На крыше лунохода сжали два подноса с бутербродами, внизу тряслись, постукивая друг о дружку, бутылки с дешёвым сидром. Прокатился лёгкий шумок, внимание зала переключилось на луноход.

«Итак, отчего же великие поэты заканчивают жизнь самоубийством?» – с дрожью в голосе зачитал записку Гирш Вавский. «Что толкает их на сей роковой шаг?» – задумчиво добавил он и тут же начал отвечать:

«Что вам сказать? На то они и великие... Я ведь, между прочим, тоже... Недавно... Пытался наложить на себя руки...».

Зал пришибленно затаих, луноход прекратил перемещение – словно попал в пересечение магнитных полей Земли и Меркурия. Вавский продолжал стоять, смущённо улыбаясь. Тень поэта расплзлась по белой стене салона. Она выростала прямо на глазах у восхищённой публики.

– Ну, и как же всё это происходило? – раздался в леденящей тишине взволнованный голос ясноглазого.

Зал напрягся и замер.

– Я пришёл... домой... с работы... – угаваясь п пол, пробубнил Вавский. – Принял душ побрился, надел белоснежную сорочку... Выпил коньяка. Написал предсмертную записку, о содержании которой не хотелось бы сейчас распространяться...

Пауза. Ясноглазый с пониманием икнул.

– Подошёл к окну, бросил прощальный взгляд на все эти деревья, клумбы, куст белой сирени у штакетника... Задёрнул шторы, достал из сейфа пистолет, прилёг на кушетку..

– И ну же, ну?! – торопил события одессит.

– Что – ну?! И выстрелил себе в висок... – глядя одесситу прямо в глаза, громко отчеканил Вавский.

– И что? – изумлённо воскликнул ясноглазый.

– Промахнулся, – ухмыляясь, развёл руками поэт.

ЛЮБОВЬ РЕЙНГАЧ

• • •

И сон не сон
Что ж жар, как в печь?
Забит заслон
Словам не втечь.

Стол – его персон:
Себя отвлечь.
Обер! Гарсон!
Побольше свеч!

Не мой фасон
Немой быть... Течь!
Открыть кингстон!
...Да в течь – не речь.

А – там – был сон
Сквозь сон шла речь.
Есть адрес – он.
Да не убежь.

• • •

Ничего, что задраены поры
Ничего, что закрыты запоры
Перекрутятся стрелки приборов
Стухнет снег, уберётся с позором
Стихнут все перебранки и споры
Кратки будут всешние сборы
Плоть пробиь, бесшабашно и споро
Вылетит первый листок у забора.

СЕНТЯБРЬ

Ещё не тонут башмаки
В шуршаще-шелестящем звуке.
Ещё на ветках башлыки
Не сбиты выстрелом базуки.
По осень клесит ярых:
Желтеют подворотники,
Свод – смылки грязные с руки.
Не взято леги на поруки!

Он всё познал: от виселиц до вышек.
Он изнывал от деспотов и выжиг.
Он кровью вышивал, миллионы – выжег.
Двадцатый. Вышел. Двадцать первый б – выжил.

Сны ли плохие, но встала с мигренью я,
Гложет желание запричитать.
«Крыша» внушает мне страх, опасение:
Слышу в ушах слово «Чинечита.»

Что это? Шизофрения осенняя?
Снова таблетки, врачи и счета...
Или заняться мне самоспасением?
И с увлечением: Чинечита.

Буквы сменить, поменять ударения:
Чита, Чита, чека, чурка, черта.
Взять себя в руки. Но через мгновение
Чиничета только и – ни черта!

Скрыться, исчезнуть в любом направлении.
Села в вагон. Полка. Лечь и чхтать.
Свистнул гудок. Точка. Всё. Отправленис.
«Поезд до станции Чинечита.»

Зорко следил левым глазом стеклянным.
Люди боялись, просили: «Уймись!»
Правый, затянутый плёнкою пьяной,
Бором сверлил: «Ну, давай, брат, колись!»

Что же скрывалось под обликом странным?
Прошлого раны? Коварство? Корысть?
Так и осталось загадкой романа
Так и не вышло из тени кулис.

Нравоученья вешают мешки:
«Тишь и смиренье.» Цена им – вилтак.
Лишь из пращи лёт. И так – до прощанья.
Без возвращенья. Иначе – никак.

• • •
Рифмы на месте. Слова сбиты в блоки.
Доки находят значительной мысль.
Главного не замечая порока:
Не полыхнул ток. Зашторена высь.

• • •
Что ж так стремительно приблизилась к уделу?
Или смиренность рубях помолодела?
Душа, прошу, ты столько лет терпела:
Не оставляй прижизненное тело!

• • •
Встать тихонько, без стука,
Вымыть вилки, ножи,
Подкупить сыру, лука,
Оплатить платежи,
Поиграть Гайдна, Глюка,
В шкаф белье уложить.
И какая же мука:
По инерции жить!

• • •
Молчу — доколе?!
Мычу от боли.
К врачу? Ни в коем!
Кричу: «Дай волю!»
Лечу — в запое.
Кучу — в отбое.
Хочу такое.
Плачу покоем.

• • •
Мадонна нежною рукой
Младенца нежного ласкала.
Я, глядя на лица покой,
Совсем другую вспоминала...
Как по дороге на убой
Мадонна с мальчиком шагала,
И, чтоб сберечь его покой,
Тихонько песню напевала.
Вела дорога на убой
И тело детское дышало,

Заканчивая срок земной,
Мать путь ногами выбирала.
Звучал и пел заупокой...
Пелёнка, соска, одеяло...
Мадонна мёртвою рукой
Младенца мёртвого ласкала...

К 60-летию разгрома фашизма

Уходили юнцы угловатые,
Сапогами большими стуча.
Волочились шинели за лятами -
Явно были с чужого плеча.
На перронах толпой провожатые,
Плач, оркестры, невесты, печаль.
Паровозы гудками хрилатыми
Заглушали: Вернись! Не «прощай!»
Уносились вагоны с ребятами
В бой, в увечья, в «сестричка, врача!»
Стыли хлеба куски ноздреватые,
Оставался недопитый чай.
...Ликопала весна сорок пятого
«Я живой, я вернулся, встречай!»
Возвращала вагоны с солдатами
В отвоёванный край
В забалованный рай
В зацелованный май!

Я создана из множества частей,
И все они осознанно воюют.
Я создана из всех мирских страстей,
Не созданных идти на мировую.

НОЧНАЯ ВАЗА В ДАМСКОЙ СУМОЧКЕ

Эту историю рассказала мне моя приятельница Лина. Переживая дождь под навесом, мы посвящали друг друга в подробности нашего отъезда из Союза. Лина поведала мне историю того, как она помогала уехать своей младшей сестре – Рите. Лина и вся её семья – коренные ленинградцы, сестра же, выйдя замуж за авиаконструктора, уехала, как писал классик, «в деревню, в глушь, в Саратов». Прошли годы и начались отъезды за рубеж. Потянулись первопроходцы. Рита, по совету опытных людей, решила воспользоваться дорогой, проложенной ещё Ильичём – через Финляндию. Накупив волжских сувениров, она со своей семьёй приехала в Ленинград. Ехали как туристы: по чемодану в одной руке и по сумке – в другой.

Вся ленинградская родня во главе со старейшиной, тётей Фаней, собрала совет. Рассмотрели содержимое чемоданов и определили, что в них нет ничего «для жизни»...

– Так нельзя! Как вы собираетесь там жить? Сувениры годятся только для чаевых горничной в гостинице. А что будете есть, пить и на что летать дальше?!

И тётя Фаня постановила:

– Возьмите с собой из старых семейных украшений из жёлтого металла с белыми камешками чистой воды и с маленькими изумрудами и синими сапфирами. Это валюта!

Рита пришла в ужас.

– Что вы! Там ведь проба с царским профилем!

Тут вмешались мужчины.

– Ни в коем случае. И камни заберут, и нас не выпустят. Только по закону!

Но тётя Фаня велела мужчинам не мешать, объяснив, что есть ювелир по имени Паша и он поможет.

И дело завертелось. Тётя Фаня «села» на телефон. По телефону была произнесена цепочка имён и прозвищ – кто от кого и через кого просит о встрече. Пароль был принят и дата встречи назначена. Паша – ювелир с опытным глазом ценителя осмотрел изделия и уверенно сказал:

– Нет проблем. Он внимательно посмотрел на Риту, оценил её параметры и достал из шкатулки длинненький полиэтиленовый пакетик. Компактно уложил в него все изделия, сформировал трубочку и запаял её. Инструкция Паши была короткой и предельно ясной.

– Пакетик мягкий и в тепле человеческого тела принимает форму путей прохождения. Накануне отъезда смажьте пакетик постным маслом и глотайте. Это легче, чем резиновая кишка при анализе желудочного сока. Минимум трое суток, не волнуйтесь. Только зорко наблюдайте за выходом, – и добавил, – не забудьте купить предмет личной гигиены, горшок.

Не откладывая дело в долгий ящик, сёстры зашли в Гостинный Двор и купили эмалированный голубой горшок с крышкой, который по преискуранту значился «ночной вазой». Дома его завернули в вафельное полотенце, чтоб не гремел, вложили в пакет с дорогим сердцу силуэтом

Ленинграда и поместили в дамскую сумку соответствующего размера. И тут началось главное.

Перед отъездом мешочек смазали маслом и Рита его проглотила. Утром семья уехала. Лина стала ждать результат.

При первом звонке из Финляндии, ещё до расспросов о том, как долетели, в телефонную трубку полетело первое междометие:

– Как?

В ответ:

– Никак!

Через пару дней, в Вену:

– Было?

Не было!

И только после этого главного сообщения шли расспросы о здоровье, где остановились и т.д.

Ещё через два дня позвонили уже в Израиль.

– Рита, да?

Из Израйля:

– Н-е-т!

И дальше уже совсем печально прозвучало:

– Может обратиться к хирургу?

В Ленинграде забеспокоились не на шутку. Тётя Фаня позвонила ювелиру. Он обнадёжил.

Ленинградцы уже боялись звонка. И он прозвенел поздно ночью. Лина дрожащей рукой схватила трубку.

– Объект прибыл!

Трудно описать ликование родственников.

Дождь кончился. Я не посмела спросить, на чтогодились изделия. Но, зная обстановку, – никто не голодает и у всех над головой есть крыша, думаю, что изделия так и остались семейными драгоценностями. А вот о «ночной вазе» рассказ был с улыбкой продолжен.

Рита так с ней сжилась, что поместила на видном месте в ванной комнате. Время шло.

Сыновья её женились, отселились. Вот и внучата поднялись на свои маленькие ножки.

Приходя к бабушке, они наперегонки неслись в ванную, стараясь первыми захватить весёленькое место. Рита радовалась:

– Вот и пригодилось!

Уже и внуки подросли. При очередной уборке муж вынес «ночную вазу» в полиэтиленовой кульке и оставил её возле парашута, в месте со странным названием «магазин без продавца».

Рита боялась пройти мимо парашута, вдруг увидит, что мальчишки футболият или бьют палкой её «воспоминание».

Когда муж вечером пришёл с работы домой, он сказал:

– А «добра» твоего-то нету. Кто-то забрал.

Рита обрадовалась:

– Вот и хорошо, кому-то пригодилось!

ФЕЛИКС ЗИГЕЛЬБАУМ

ГРЕХ

Обветшало мгновенье —
Ничего не сулит,
Может, вспыхнет прозренье, —
Посмеёмся навзрыд.

Этим вечером время
Я убыю неапопад,
Слишком слабое стремя
Ощутив наугад.

Окоплованы свечи
В потайных углах.
Отговорены речи
Наверху, в куполах.

Я убил это время,
Синий вечер убил,
Потому на коленях
Семь грехов замолил.

МИР

Наполняя, как нежность улитки малюсенький дом,
Мир под зренья углом, никому не знакомым другому,
Красоты и флюида гармонией свят и влском,
С позволения сердца дрейфует по кругу большому.

Нет, ни свет и ни звук, до микрон растворяя в себе,
А движение и суть отражённых зеркально субстанций,
Беспрдельностью мук он себя подчиняет судьбе
И, как х минусу плюс, в абсолютной любви постоянством!

Нет масштабов таких на отрезке земного пути,
Но душа без границ не преминет себя увеличить,
Исповедуя общность миров, чтобы с этим уйти
В то единство, где с Богом одно мы, — как тело и личность!

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Я приду, изменившись,
Дверь меня не признает,

Брошу шапку, как нищим
Подаянье бросают.

В этом стареньком мире
Непросторной квартиры
Тускло, вяло и сыро –
Я проследую мимо.
Я проследую мимо
Как-то неповторимо,
Я проследую мимо
Спорно, неповторимо.

Я пройду, неизвестным
Ощущеньем играя,
Для тебя незаметным, –
Не поймёшь, не узнаешь.

СТРАНА ПОДСОЛНУХА

В жёлтой стране богдыхана
Так нелегко умереть:
Пей из любого фонтана,
Рыбой беременна сеть.
В это стране богдыхана,
Белой от риса равнин,
Утренней радугой рано
Моется нежный павлин.
Здесь поедают собаку,
Даже твою незначай,
Пьют не какую-то «чаку» –
В крошечных чашечках чай.
Делят мужчин здесь и женщин
В жёлтеньком теле – «инь-ян».
Лечатся только жень-шенем,
Сыпется в руки юань.
Боги фарфоровой плоти
Свято живут на коврах.
И, виртуозные в ноте,
В декоративных садах.
Врут соловьи золотые:
«Жёлтенькосолнечный рай!»
– Едем, пока молодые,
В шелкововкусный Китай!

ТАКАЯ

Волос междуречья –
Сквозь пальцы – быстрина:
На воске предплечья –
Твоя писанина!..

...Моя писанина –
Ответные чувства:
Ты муза-картина!
Ты вся для искусства!

Медами бутона
Цветущие груди:
До смертного стона
Сознание запрудят.

Запрудят желаньем!
Но и ненагая:
Ты выпьешь дыхание
Жизни такая!..

ПОКА...

Пока под летним виноградом,
Пурпурным шёлком лепестка,
В глухой траве, о чём-то, рядом –
Мне вечер шепчет у виска:
Во мне несбывшееся дремлет.
Но снов, увы, не разобрать; –
...Лишь колокола детский лепет –
Сквозь просьб невымолвленных рать
И властью глянувшие дали...
...Их аლოსнежные цветы,
С росой тёплой со стали,
Чьей остроте досталась ты!..

СТАНИСЛАВ ЛЬВОВИЧ

*К 60-летию
разгрома фашизма*

ПЕТЕРБУРГСКАЯ БЛОКАДА (баллада-напоминание)

«Никто не забыт! И ничто не забыто!»*
Горящие гневом и кровью глаза...
Стоял Ленинград, словно глыба гранита,
И плакала тихо — свидетель — Нева...
Нельзя позабыть зло, творимое злобой —
Ничто не забыто, никто не забыт.
Лежат безымянные трупы... В сугробах!
И давит, и давит, и давит гранит!

Блокада началась давно.
Считай, с «Аврорина» салюта.
«Закреть Петровское окно»
Решили новые «малюты»...

За свой ответ — «Всегда готов!»,
Энтузиазм и Свет сигнальный
Струилась кровь из-под «Крестов»,
В Неве ища приют прошальный.

И что чекистская дубина
Не разнесла, другой каратель
Доделал: «оберст» из Берлина
и с ним нацистские солдаты...

Из-за бугра, из-за Днестра,
Чума войною окружила.
Тоталитарная сестра
Вспорола грудь что было силы...

Чума блокадная пришла
На город Росси и Растрелли!
И все — от старца до малца
На вечность сразу постарели...

Горели «ждановские» склады,
Суля голодные года.
Притихла Невского громада
Ушло веселье навсегда...

Сжигалась мебель. Память. Книжки.
Тепло – дороже всех наград!
Траншей военные вериги
Надел блокадный Ленинград...

Буржуйки вытянули шеи.
Коптилки (света в пол-свечи).
И оборонные траншеи
От пота стали горячи...

Как заключённый, город жил,
Влача блокадные оковы.
Почти не ел. Ходил без сил.
И хрипло вылетело слово.
И тело падало в сугроб
И, не вставая, застывая.
Сбивала Смерть за гробом гроб,
Но часто их недоставало!

...Скрипит Ледовая дорога.
Слепит глаза колючий снег.
Там полыньи ...
В них – вместо гроба –
Ушли машины, как в кювет...

И без рассвета, без надежды
Три года – словно триста лет
Чей царь сильнее? Новый? Прежний?
...Пустынен улиц силуэт...

«Простите, Парки, Люди, Дома!
Простите всех, кто пыжить смог
Почти три года в смерть ведомый
Ты выжил, Питер! Ести, ведь Бог!»

Никто не забыт! И ничто не забыто!
Слова эти златом вписались в гранит...
Один миллион околелших, убитых
Легли под гранит...
Кто нам это простит!

*Слова Ольги Берггольц

• • •

Белле Ахмадулиной
«Паливалась горечью рябина...»
Да морозов было далеко...

Ты вопрос задал: «Кого любила?»
Мне ответить было нелегко...

«Многих» — это много или мало?
«Одного тебя!» — ответ пустой...
«Никого» — уж это слишком прямо,
Но холодной отдыёт тоской...

Подожди с ответом и не майся.
До рассвета — целых два часа.
...Месяц слышит, криво улыбаясь,
И не верит женским голосам.

ПОТОК

Стихия мчалась три часа,
А бед наделала на месяц.
Вода летела куролеса,
Срезая брёвна, как коса.
Арых центральный переполнив,
Перехлестнувши парапет,
Рвалась и пенилась, как волны:
Такого не было сто лет!
В кофейно-серой гуще грязи
Мелькали доски и куски
Арбузов. Без реальной связи
Остались берега реки,
Что народились из арыка.
Поток промчался с шумом, дико,
И успокоилась вода...
Но не ушла от нас беда!
Зачем поток нас разделил
И надвое разрезая души?
На и не сойтись, коль не просушит
Жара и Время грязный ил!

• • •

А с марта кошкам витамины не нужны!
Им радостью от Солнца и Луны,
И от обилия кошачьего приплода...

Любовь их такова.
На зависть всем народам!

РАЗГОВОР

Ну что сказать, пока ты вся в дверях?
Пройди на кухню. Сядь за стол. Облокотись
Щекой своей на согнутую руку
И приготовься слушать...
Но пока я кофе заварю и что-нибудь поесть
Соображу за пять минут. И не кобенься.
Не в казённом доме...
И не грусти. Лбом бейся иль не бейся,
Стены дурной не проломить
И через столб не перепрыгнуть.
Не обожгись... Лимончика добавь.
Так что ж у вас случилось?.. В самом деле?
Ну, негодяй! И как давно?
Всего каких-то две недели...

НОВОЕ ПЛАТЬЕ (ДЕТЯМ)

Кто обидел Катю?
Катю! В новом платье?
Посмотри внимательно.
Просто замечательно!
Все оборки – пышные.
И кармашки – с вышивкой.
Кружевная стоечка.
И не жмёт нисколько.
Петельки воздушные.
Катя вся надушена.
Пуговки на ножке,
Да в ушах – серёжки!
Поясочек с бантиком,
А юбчонка с кантиком.
Вся юбчонка в сборку,
А поверх – оборки!
А кокетка, как конфетка...
Всё пришито крепко-крепко!
Катя кружится – кружится,
Катя платьицем гордится.
Но никто, совсем никто
Не заметил даже, что
Сколько в Кате счастья.
Катя!
В новом!
Платье!

АЛЬФРЕД ХОДОРКОВСКИЙ

ГДЕ ТВОЙ ДОМ?

Яня Гефтер драться не умел. И когда он случайно оказался на глухой окраине родного местечка, юный задира сразу признал в нём чужака, бросился на него с кулаками и до крови разбил Яне нос. От неожиданности и обиды худосочный Яня бросился на крепыша, подмял его под себя на дорожной брусчатке и принялся неумело колотить. А тот изворачивался под ним, уклоняясь не столько от неуклюжих прикосновений, сколько от крови, которая лилась на конопатое лицо обидчика из Яниного носа.

Яня драться не только не умел, но и не любил. Его с детства учили, что драться не-кра-си-во. И он усвоил это основательно, без какой-либо надежды избавиться от такого предубеждения. Но после этого случая какая-то обида поселилась в его душе и обосновалась в ней окончательно в первый же год войны, когда он понял, что к евреям отношение особое: их не любят, их убивают, им надо бояться, им надо спастись.

— Значит, мы какие-то особые, не такие, как все, — думал Яня. Ему было неуютно и боязно оттого, что его лицо может кому-то не нравиться: не тот профиль, не те глаза. А имя? Он его так стеснялся, как будто публично совершил неприличный поступок. У него язык деревенел и не поворачивался произнести вслух своё имя: Янкель, когда вокруг так благозвучно слышалось: Ваня, Вася, Петя. Само имя его как бы говорило окружающим: чужак, не наш.

Война забрала у Яни отца, деда, бабушку и ещё несколько десятков других родственников. Взрослея, Яня пытался найти ответ на вопрос: Почему, почему так происходит? И не находил ответа. Он не знал своего языка, не читал в оригинале Шолом-Алейхема, Ицхок-Лейбуш Переца и других еврейских авторов, но и в переводах они были замечательны. Его никто не учил петь еврейские песни, но редкие пластинки, чудом сохранившиеся с довоенных времён, трогали душу, будили в нём затаившееся еврейство.

Став взрослым, Яня никогда не думал, что ему придётся оставить ту землю, которую он по праву считал своей родиной. Ему всю жизнь вбивали в голову, что родина — это свято, её надо любить, любить глубоко и бесконечно. И Яня любил, любил до тех пор, пока не понял: его любовь к родине — безответная: он её любит, а она его — нет. И уже через годы, оказавшись в стране, которая раньше не вызывала у него никаких симпатий, он задаёт себе всё тот же больной вопрос: Где мой дом? Где моя родина? И не может найти ответа.

Он уже знает, что жизнь евреев в странах рассеяния научила их быть покорными и терпеливыми, энергичными и предприимчивыми,

удивительно способными и талантливыми, научила их приспособляться и выживать в самых сложных жизненных ситуациях. Будучи разделёнными, они оставались самими собой.

Детская память Яни сохранила картину более чем шестидесятилетней давности: его дед, надев тфилин и облачившись в талес, усердно молится, прося у Бога спасения. Но, как видно, не дошла его молитва до Всевышнего. Поэтому Яня решил восстановить прервавшуюся связь. Теперь, выходя к Торе, он не стесняется своего имени. Он – Янкель бен Моше. И среди своих он нашёл своё место. Когда он возвращается из синагоги домой, в его душе ещё долго звучат мотивы молитвенных песнопений, которые прошли неизмеримо долгий и трудный путь вместе с еврейским народом в поисках своего места на земле, в поисках своего дома.

ИВАН И РОЗА

На первый взгляд, это может показаться странным: Иван никогда не видел своей жены и детей – Андрея и Анечку. Но судьба распорядилась именно так. А началось всё ещё в сорок третьем, когда Павлушин после тяжёлого ранения в голову в конце концов оказался в далёком тыловом госпитале. При очередном обходе врач сказал ему:

– Ну что ж, солдат. Жить будешь, но глаза спасти не удалось. Крепись. Бывает и похуже.

И отошёл к другим. Не понял Иван, не поверил. Стал щупать толстый слой бинта у переносицы. Глазные впадины едва обозначились под повязкой. Так и остался Иван в сомнениях, надеясь однако, что всё обойдётся. Когда повязку сняли, тьма не отступила. После этого, обычно неразговорчивый, немногословный, он замолчал совсем.

А накануне в кабинет начальника госпиталя, робко постучав, вошла посетительница.

– Чего тебе? – устало взглянув на неё, спросил он.

У дверей стояла нескладная, сухошавая девушка, почти подросток, с веснушатым лицом, в кургузом вылинявшем платье. Её нельзя было назвать красивой, но широко расставленные карие глазища и буйные пряди рыжих кудрей украшали её.

– Хочу до вас. Робыты.

Начальник понял: не местная.

– Откуда?

– З Украины, з Богуслава, – и потупилась покраснев.

– Сама, что ли, приехала?

– Не, с мамой. Болие вона.

– Понятно. Приходи завтра, к восьми. И паспорт не забудь, – пре-

дупредил он и уткнулся в лежащие перед ним бумаги.

Так Роза Гурфельд стала санитаркой. Поначалу она чувствовала себя неловко, смущалась от добродушно-грубоватых солдатских шуток. Но искренняя доброжелательность изголодавшихся по женскому обществу мужчин растопила этот ледок отчуждённости. Вскоре «хохлушка», как называли её между собой раненые, о каждом знала всё: откуда родом, когда и где ранен, кто ждёт дома. Один только Иван Павлушин ничего о себе не говорил. В разговоры не вступал, на вопросы отвечал неохотно. Правда, к Розе привык быстро: к её чутким рукам, певучему говору, безошибочно различал её шаги, улавливал запах её девичьего тела. Роза научила его самостоятельно выходить из палаты и прогуливаться по коридору, находить дверь и свою койку у окна, часто выводила его в госпитальный дворик посидеть на скамье. С ней Иван чувствовал себя уверенно. Роза знала, что Иван ждёт её появления в палате, видела, как светлая волна пробегает по его лицу, когда она подходит к нему. Это волновало её. Возвращаясь домой с дежурства, она часто думала о нём. Этот молчаливый великан, беспомощный, как дитя, вызывал в ней не только жалость.

Шло время. Чем меньше дней оставалось до выписки, тем мрачнее становилось лицо Ивана. Очень хотелось домой, но бредили душу сомнения: мать стара, сёстры в колхозе с утра до вечера, о их детях позаботиться некому, нужен ли он им такой... На прогулке Иван поделился с Розой своими сомнениями.

– Ваня! – вдруг сказала она. – Может, у меня останешься?

Иван повернул к ней застывшее в слепоте лицо, как бы желая посмотреть ей в глаза, затем молча кивнул головой.

Месяца через три они уехали на Украину. Первые годы жили трудно, но, как и все, надеялись на лучшее. Когда появилась Анечка, Иван поначалу боялся прикоснуться к малышке. Покормив её, Роза положила девочку ему на грудь. Иван осторожно касался ребёнка руками. Этот странный тёплый комочек прижимался к нему и удовлетворённо сопел засыпая. Позже Иван наловчился водить её по комнате, а при случае складывал спать.

Когда родился Андрей, Иван был уже опытным отцом.

Прошло какое-то время. Дети подросли. И тут, наконец, получили Павлушины квартиру. Хоть и непросто было для Ивана и Розы взбираться на пятый этаж, но это не омрачало их радости. Иван без особых трудностей освоился в новой для него обстановке. Правда, на улицу без жены не выходил. Обычно соседи видели их всегда вместе. Медленно и чинно проходили они вдоль всех шести подъездов, направляясь к близлежащему парку. Оба всегда аккуратно одеты, благообразны и спокойны. Правда, в последнее время в глазах Розы можно было заметить следы какой-то скрытой заботы или тревоги. Иван же, высокий и пред-

ставительный, как обычно, шёл рядом с ней. Голова его слегка приподнята, будто он вглядывается в даль, видимую лишь ему одному.

Годы пролетели незаметно. Аня закончила техникум, вышла замуж и уехала с мужем на работу. Вскоре и Андрей вернулся из армии и тут же решил жениться. Родители не противились. Роза сразу погрузилась в хлопоты. Все предсвадебные заботы легли на её плечи. Очень ей хотелось, чтобы всё было как у людей. Забегалась, ног под собою не чуяла. Горжественную церемонию в загсе еле выстояла. Но к назначенному времени всё было готово: столы накрыты, музыканты на месте да и гости не заставили себя ждать.

Когда свадьба была уже в полном разгаре, Розе сделалось худо, и её незаметно увезли домой. А к утру её не стало...

И остался Иван один со своим сыном и молодой невесткой. Теперь он сам выходил из своего подъезда. Постояв минуту у крыльца, отправлялся на прогулку вдоль дома. Он шёл, высоко подняв голову, как всегда — внушительный и неторопливый, слегка касаясь своей длинной тростью кромки тротуара. Обычно у последнего подъезда Иван останавливался и замирал, как бы о чём-то вспоминая. И тогда он напоминал статую, величественно-неподвижную. Иногда кто-то из соседей заговаривал с ним. Они обменивались несколькими фразами о погоде и здоровье. Затем Иван снова продолжал ходить вдоль дома, одинокий в своей слепоте, отторгнутый от живого мира света и красок.

Вера, так звали Иванову невестку, была для него человеком чужим. Она исправно готовила еду, молча прибиралась в квартире, а разговаривать со свёкром ей некогда было.

Да и не знала она о чём с ним говорить. А когда появились дети — две девочки одна за другой, Иван почувствовал себя в семье сына совсем одиноким. Внучат Вера ему не доверяла, боялась. Сын — то на работе, то в семейных заботах. А Иван оставался один в спальне со своим крошечным радиоприёмником, подаренным ему в День победы. Но приёмник этот ничего утешительного Ивану сообщить не мог.

В один из выходных дней Иван попросил сына отвезти его на кладбище. Он неспешно обошёл могилу жены, осторожно ощупывая памятник, нашёл её портрет в овальной рамке.

Пальцы его дрожали. Опустив руки, постоял ещё минуту, затем как-то буднично сказал Андрею: «Ладно. Пошли».

На следующее утро, когда дома никого не было, Иван открыл настежь окно, стянул с кровати одеяло, связал его в узел, лёг грудью на подоконник и бросил одеяло вниз. Прислушался. Через несколько секунд раздался хлопок. Иван понял: никаких препятствий нет.

Всем своим огромным телом он перегнулся через подоконник и рухнул вниз.

«ОН, КОТОРЫЙ УЛЫБАЕТСЯ С НЕБЕС»

(из послания)

Давно известно, что Господь – творец всего сущего, автор самого жестокого романа о земном существовании, создания, которое естественно облекается плотью: всё то, что Всевышний закладывает в его всеобъемлющие рамки, происходит наяву. Райское начало этого романа всем известно. Продолжение, дошедшее до сегодняшнего дня, – тоже. Лишь будущее скрыто в тумане грядущих дней. Правда, умники самоуверенно рисуют последующие главы, желая быть мудрее Мудрого. На шатких весах своего разума они взвешивают ложные версии прошлых веков и выстраивают спирали грядущих времён. Но лишь Он один знает содержание последующих глав. Он талантлив и мудр. Он гениален. Никто ещё до сегодня не сотворил такой эпопеи. Но глядя на то, что создано Им, нельзя утверждать, что Он абсолютно добр и милосерден.

Он бывает жесток и беспощаден. Но разве мы вправе требовать от Него бесконечной доброты и милосердия, снисходительной улыбки, нисходящей с небесного Престола? Какой бы ни была примечательной личность Творца, нам интереснее, прежде всего, само творение. Потому что только в нём воплотились Время, Пространство и События, соединённые неразрывной Причинной Связью.

Герои Его романа – народы, их судьбы от зарождения до гибели. Место их обитания – Земля, разделённая водами на континенты, границами на владения. Интрига «кто – кого» постоянно держит нас в напряжении. Народы, разделённые высокомерием, редко блаженствуют в мире, чаще враждуют, пытаются уничтожить друг друга. Обвиняют подобных себе во всех смертных грехах, выдавая ложь за правду. В этой вражде они забывают о своём общем доме, неприкасаемой Земле. Они разрушают её: сжигаемые алчностью, питаются её соками, лишают её покрова, отравляют отбросами. «Смотришь, – как бы говорит сам автор, – как вы живёте: вы сами себе роете могилу. Остановитесь, пока не поздно!»

Но, увы. Ослеплённые воображаемым величием, они заводят новые интриги, прикрываясь именами псевдопророков. Ничто не может их убедить: они пренебрегают опытом прошлого, хранящимся в предыдущих главах романа.

Господь пишет так, как Ему хочется. О чём расскажут последующие главы? Мы можем только предполагать, опираясь на свою скудную фантазию. И только Он один знает, ибо Он автор. Он создаёт бесконечную эпопею с коротким названием «Жизнь», предоставляя право самим героям решить свою судьбу.

МАЛЬЧИК ОСЯ

Лето сорок первого года было жарким. На бакнинских тротуарах, у витрин магазинов, притянулись беженцы с их нехитрым скарбом, ожидая посадки на пароход. Порт был рядом. Оттуда доносились тревожные гудки, скрип лебёдок, разногласия команд.

Осю в порт не пускали. В этой толпе, в этой суматохе трудно ли потеряться ребёнку?

Поначалу Ося всё просился на берег: уж очень хотелось ему посмотреть, как отплывают пароходы. Но после вчерашнего посещения пляжа он чувствовал себя виноватым и сидел молча. Правда, за дедовы туфли Осю не ругали. Что с него, пятилетнего, возьмёшь?

А ведь парни эти были так приветливы... Когда дед пошёл искупаться, они уселись вокруг Оси и сами вызвались показать, как в песке можно вырыть колодец. Копать пришлось недолго. Вот-вот должна была появиться вода. Осе ещё никогда не приходилось видеть, как роют колодцы. Это было так интересно! И вода в колодце действительно появилась. Она медленно заполняла вырытую ямку, как будто ей не очень хотелось выходить наружу. Ося засмотрелся на это чудо и не заметил, куда девались эти славные ребята и как возматился дед. И тут оказалось, что дедовы туфли тоже куда-то исчезли.

Весь остаток дня Ося молча просидел на узле с вещами. На следующий день — тоже. До самого обеда. Не ныл, не жаловался, не просился на пристань. Но вид у него был такой несчастный, что бабушки первая не выдержала и заявила Осиной маме:

— Рая! Перестань мучить ребёнка! Я не могу уже на него смотреть! Тебе мало, что у него забрали отца? Покажи ему этот пароход.

И мама повела Осю в порт.

Шумная толпа заполняла всю площадь у причала. Посадки на пароход заканчивалась. Кто-то ругался, кто-то кричал, кто-то плакал. Ося с мамой присоединились к толпе и стали смотреть на пароход. Вся палуба была заполнена людьми. Они махали руками, что-то кричали тем, кто оставался на берегу. Неожиданно раздался продолжительный прерывистый гудок — пароход оторвался от причала. И тут возле Оси появилась черноволосая женщина с корзинкой в руках. Она заметалась, закричала:

— Пропустите! Там мой муж с детьми! — и пыталась прорваться к месту, где стоял трап.

Она протягивала к пароходу руки с корзинкой, из которой торчали длинные перья молодого лука, и продолжала кричать:

— Сёма! Сёма! Ты меня слышишь?

— Мама — спросил Ося, — а почему она здесь, а они там?

— Молчи! — прошептала мама и ещё крепче сжала Осину руку.

А женщина всё звала Сёму и пыталась приблизиться к причалу. Потом вдруг заплакала, запричитала, стала бить себя руками по голове. Волосы её растрепались, корзиночка отлетела прочь. Кто-то поднял её. Она взяла корзиночку и как слепая побрела, не разбирая дороги, натываясь на людей.

Позже Ося увидел её снова. Она ходила по тротуару, опустив голову, металась, как зверь в клетке: туда-сюда, туда-сюда. Люди проходили мимо, уступая ей дорогу, а она продолжала ходить, не поднимая головы, и всё так же прижимала к себе корзиночку, из которой свисали поникшие перья лука.

— Бедная! — сказала Осина бабушка, горестно качая головой. — Что с ней теперь будет?

Через несколько дней пароход увозил Осю в незнакомую страну — Казахстан. На палубе гулял морской ветер, а на берегу остались раскалённый асфальт, колодец из жёлтого песка и эта странная женщина с космами чёрных волос.

ПРОКЛЯТЬЕ

— Ты много лет в школе проработал, — неожиданно заговорил со мной недавний знакомый, с которым мы едва перешли на «ты». — Наверно, о Лермонтове своим ученикам рассказывал. Так ведь?

Я кивнул. А он:

— О дуэли его, небось, толковал. Гневные речи по адресу Мартынова... Верно я говорю?

Я снова согласился с ним, хотя, признаться, не понимал, почему это он вдруг о Лермонтове заговорил. Ничего не объясняя, он продолжал:

— А я вчера от племянницы письмо получил. В Сан-Франциско она живёт. Беда у неё. Вот когда оно отозвалось-то...

— Но Лермонтов здесь причём?

Заметив наконец моё недоумение, он рассказал:

— Понимаешь, моя племянница в своё время вышла замуж за Мартынова. Конечно, ничего удивительного в этом нет. И парень неплохой попался. Да и фамилия как фамилия, довольно распространённая. И никому бы на ум не пришло о Лермонтове вспомнить, если бы не прабабка этого самого Мартынова. Когда они поженились, она была уже глубокой старухой, я даже не знаю, сколько лет ей было, но в ясном уме и здравом рассудке находилась. Когда молодые в отъезд собрались, велела правнука к себе привести. Оставшись с ним наедине, сказала:

— Серёжа! Я должна тебе кое-что сказать. Не думаю, что это доставит тебе удовольствие. Но ты всё же должен знать. Дело в том, что фамилия наша печальным образом связана с именем Лермонтова. Ты,

верно, уже догадался о чём речь. Но дело не только в этом. Елизавета Алексеевна, бабушка поэта, узнав о подробностях дуэли, сказала: «Бог не простит ему (то есть предку нашему) этого греха. Да будет проклят он в пятом поколении». К сожалению, Серёженька, это проклятие всё время преследует наш род.

Мало кто из мужчин прожил более сорока годочков. А теперь главное – ты и есть Мартынов в пятом поколении. Прошу тебя: будь осторожен. Береги себя».

Выслушал он прабабку, простился с ней да и забыл об этом. Но прошло время – и вспомнилось всё. Своё сорокалетие Сергей, как это принято в Штатах, решил отпраздновать с семьёй в ресторане. Возвращались домой на своей машине. И надо же! Неожданное столкновение – и он один оказывается в больнице с тяжелейшей травмой головы.

Спасибо Америке и её врачам: спасли его. Племянница боялась, что Сергей инвалидом останется. К счастью, всё обошлось. А ты говоришь: «Причём здесь Лермонтов?»

Как узнал я позже, власть проклятия всё же довлел над бедным Мартыновым. Ему часто снится один и тот же кошмарный сон: будто это он стоит у горы Машук. Вокруг темнота. Тучи закрыли всё небо. А шагах в десяти, чуть поодаль, стоит Лермонтов. Не насмешливый, нет. А какой-то печальный. И ждёт ответного выстрела. А в руке у Сергея тяжёлый старый пистолет, и он обязан стрелять – просто некуда деться: всё должно случиться неотвратимо. Палец нажимает на курок, следует глухой щелчок – и он просыпается. Осознав наконец, что это только сон, Мартынов с облегчением шепчет: «Слава Богу, и на этот раз – оссчка!»

Лори любила купаться. Плавать она не умела и только носилась по мелководью между чуть выступавшими над водой постаментами, установленными прямо в фонтанной чаше. На этих островках прогретых солнцем она отдыхала после очередного забега. Когда вода накрывала Лори с головой, сердечко её замирало от страха и она по дну быстро пробегала глубокое место. Сердце замирало и у старого худощавого человека, когда она исчезала из его поля зрения. Шрам от правой брови до уголков губ становился пунцовым, а морщины ещё глубже. Он сидел на борту фонтанной чаши чуть боком в неудобной позе, но не горбился и держался прямо. Одна нога была подогнута, другая не сгибалась и опиралась на палку. Он смотрел на барахтанье Лори, глаза его теплели, словно он получал такое же удовольствие, как и она сама.

Сквозь шум падающей воды Лори слышала своё имя. В людском гомоне среди сотен других она узнала его голос и опрометью бросилась к старику. Он подхватил её, обсушил полотенцем, поднял к лицу, щекой потёрся о мордочку и посадил на подстилку рядом с собой.

— Нам пора собираться домой, — улыбнулся старик. Лори не понимала слов, но сладкое звучание голоса успокаивало и убаюкивало её. Она прижалась к его ногам и задремала.

• • •

В подъезде, где жил Рудольф Крюгер, неистовствовал соседский одноплазый шниц. Его истерики не давали сосредоточиться и закончить очередное письмо. Старик открыл входную дверь. В квартиру влегел крохотный комочек белой шерсти, покатился по коридору и исчез в ванной комнате.

— Пусть живёт, веселее будет, — вслух сказал Крюгер.

С тех пор, как поздний немецкий переселенец остался один, свои мысли частенько выражал вслух.

• • •

Единственный сын Рудольфа Герман преподавал историю и географию в школе большого казахского села. С женой и дочкой они жили в домике на самом его краю. Каждое утро в любую погоду он выходил из дома, делал зарядку и бежал в степь. Огромная, от неба до неба, она имела свой характер: то улыбалась, то грустила и не всегда встречала его приветливо. Своё настроение степь передавала и ему, но класс никогда этого не чувствовал. Подростки любили весёлого учителя и знали, что за полюдумство ему часто достается от директора. Родители учеников тоже любили Германа за то, что его любили их дети. За то, что из книг, которые он давал им читать, они узнавали многое о своём

государстве, о жизни и ещё о том, о чём они и не догадывались. Он любил его потому, что он, Крюгер, любил их степь, а степь была жизнью этого народа.

Директор школы Керзабаев никогда не улыбался и не признавал нововведений. Сквозь узкий разрез глаз видны были только чёрные бегущие зрачки, словно он что-то высматривал. Атта Наменкулович всегда ходил в чёрном костюме и сорочке без галстука, застёгнутой на все пуговицы. Длинные углы воротничка уныло свисали вдоль лацканов пиджака, как две сосульки с крыши, не успевшие растаять. Казалось, они извиняются за свой неказистый вид. На последнем педсовете директор сказал:

– Не допущу толковать события по-своему. Советская власть сделала немало для Казахстана, и прошу это помнить, – он посмотрел на Крюгера пожелтевшими от злости глазами: У вас есть официальные учебники, их никто не отменял, – он помолчал, не поворачивая головы, обвёл взглядом учителей и, растягивая слова, добавил. Требую учить детей только по утверждённым материалам.

Герман вскочил:

– Они же старые. Мы теперь живём в своём государстве.

– Возражений слушать не буду, – ответил директор и вышел из учительской. С работы Крюгер вернулся рано. Он тихо вошёл в дом и, не раздеваясь, сел у двери. Из кухни вышла жена, подошла к нему и положила руки ему на плечи:

– Что случилось? Опять Керзабася, разве ты не привык?

– Не в этом дело, Аня, – он обнял её и увидел нераспечатанный конверт из Германии, лежащий на подзеркальнике, от отца, понял он.

Слушай, Аисчка. Давай переедем к родным, – он оживился, – ведь они давно нас ждут. Может быть, пришло время, а старики там одиноки, да и мы здесь...

– Герман, пойми, наш переезд не просто перемена места жительства. Это как прыжок с обрыва в воду, причём с закрытыми глазами, – он непроизвольно прикрыл глаза, – мы переместимся совсем в другое измерение, в другую непонятную нам жизнь, и от этого мне страшно. Страшно всё бросить, всё, – она прижалась к нему, тоже закрыла глаза, словно они уже падали с обрыва, – ведь это наша родина, – мягко сказала она. Оба замолчали.

Тишину нарушали только старые ходики с кукушкой, мерно отсчитывая время.

• • •

Герман с женой и дочкой переехали в Германию.

Жизнь в двухкомнатной квартире на третьем этаже, где почти три года жили его родители, сразу повеселела. Старый Рудольф помолодел

и, казалось, стал меньше хромать. Внучка Катюша неожиданно подружилась с нервным шпицем. Тревога за судьбу Германа и его семьи на время отступила. Но постепенно мысли о предстоящем собеседовании сына с чиновниками всё больше и больше тревожили его. Сын плохо знал немецкий. Для Рудольфа и его жены этот язык был родным. Читая газеты, они пересказывали детям политические новости в стране, перипетии немецкой жизни и всё то, о чём, как им казалось, их могут спросить. Листали словари, учебники, а за ужином вспоминали рассказы об укладе жизни и обычаях старых немецких семей. Назначенный день приближался. Крюгер - старший понимал, что чиновникам мало интересны судьбы людей, носивших на плечах груз горьких воспоминаний и обид на государство, где они родились. Равнодушные служивые люди только по птичкам в квадратиках тестов определяют дальнейшее место в жизни его сына.

Тщательно скрывааемый страх, сидевший где-то на дне души мохнатыми гусеницами, постепенно выползал наружу и, казалось, заполнил всю квартиру. Её обитатели теперь мало разговаривали, плохо спали, раздражались по пустякам и часто ссорились.

— Зачем мы сюда присхали? — кричала сноха. — У нас был дом, работа, друзья! Там мы были немцами, а здесь стали русскими. Катька приходит со двора заплаканная. Дети не хотят с ней играть, они её не понимают!

Она приткнулась к спинке кровати и заплакала.

— Не ори, надоело, — сказал муж и вышел из комнаты.

Рудольф подошёл, сел рядом и обнял её.

— Не плачь, дочка, успокойся, — он погладил её волосы, — мы здесь на родине, нас в обиду не дадут, а там мы долго были фашистами, уж поверь мне. В той стране, где ты родилась, всё может случиться. Я хочу быть спокоен за Катькину судьбу. И разве ты забыла, как и сейчас на нас смотрят старые женщины в чёрных платочках, словно мы стреляли в их мужей? — Крюгер тяжело вздохнул. — Человек должен жить там, где не нужно скрывать своей фамилии, не бояться говорить на родном языке и молиться своему Богу.

Они давно знали число, день и час собеседования, но 27 августа наступило как-то вдруг, неожиданно. Словно только сейчас, сегодня, они об этом узнали. В эту ночь Рудольфу не спалось. Он долго ворочался с боку на бок, взбивал подушку, мысленно считал цыплят, слонов, но сон не шёл. Он встал, вышел на балкон и закурил. Во дворе росло несколько берёз. Листья на ветках почти касались балконных перил. Они шелестели на лёгком ветру и нашептывали ему то, о чём так хотелось забыть

• • •

Сталинский Указ от 28 августа 1941г. потряс его. Он не мог в это

поверить, а может быть, не хотел, считая, что в газете засели враги и ложь – их работа. Ведь в тридцать седьмом не всех уничтожили...

А как же мой брат, командир Красной Армии, награжденный орденом за Ханкин – Гол? – подумалось ему. Правда, смутила провокация с переодетыми в немецкую форму красноармейцами. Предположение, что жители города – этнические немцы – встретят мнимых гитлеровцев цветами и это подтвердит «мудрость» сталинского указа, не оправдалось. Колонна двигалась через город, а его жители закрывали окна и двери, задергивали занавески и шторы.

Приказ военного коменданта города, переданный по «точке», у преподавателя техникума Рудольфа Генриховича Крюгера развеял все надежды. В нём говорилось, что рождённые здесь этнические немцы являются пособниками фашистов и ждут скорейшего прихода гитлеровцев. Для переселения в другие области страны им предписывалось явиться на площадь перед речным вокзалом к 9 часам утра следующего дня, имея при себе документы, вещи и продукты из расчёта 10кг. на человека.

• • •

Две самоходные баржи, до отказа набитые потенциальными «врагами» СССР, отвалили от дебаркадера и двинулись вниз по Волге. После выхода из устья в море одна из них бросила якорь. Экипаж другой получил приказ вывести двигатели из строя и на шлюпке прибыть в распоряжение шкипера заякорённой баржи. Неуправляемую, с молчащими двигателями баржу разпернуло бортом к волне и понесло в открытое море. Ещё долго слышались крики молящих о помощи людей и проклятия покинувшему их экипажу. Рудольф не мог оторвать взгляд от тающего в дымке беспомощного судёнышка. Ноги не держали его. Обхватив голову руками, он медленно оседал и уткнулся лбом в палубу. Боль разрывала голову и, казалось, он слышит её треск. С трудом выпрямился, бросился к шкиперу и схватил его за плечо.

– Их уносит, они все погибнут! – закричал Рудольф. Шкипер безразлично отбросил его руку с плеча и прощедил: – Скажи спасибо, что ты здесь. Крюгер заплакал. Он плакал последний раз в жизни и никогда, с тех пор, не бывал на море.

Вдруг стоящая баржа снялась с якоря и, набирая ход, пошла в море. Шкипер не отрывал глаза от бинокля, что-то разыскивая у горизонта. Но море было пустынным.

Рудольф не мог знать, что ситуация изменилась и новый приказ требовал сохранить рабочую силу. В Караганде не хватало шахтёров.

Ещё много лет по ночам ему слышались крики гибнущих людей. Голова опять разрывалась от боли, и опять он слышал её треск. И ещё вспомнилась трудовая армия с тюремным режимом и охраной на вышках. Не проходящее чувство голода. Каторжная работа в шахте. В

забой пробирались почти ползком. Роба напивалась водой. Она была везде: капала с потолка, сочилась по стенам, текла по штреку. Он вспомнил и взрыв метана, обвал кровли и склоненное над ним озабоченное лицо хирурга Абрамзона, когда пришёл в сознание. Старый доктор ободряюще улыбнулся и сказал:

– Мы тебя кое-где подремонтировали, подштопали. Когда снимут бинты, увидишь в зеркале, какой ты ещё молодец, – и добавил: – Теперь многое зависит от тебя. Держись мужик, тебе ещё многое предстоит вынести.

И он держался, и он вынес.

* * *

Рудольф облокотился на перила. У дома на клумбах, даже ночью, растения различались по цвету. Покой бархатным одеялом накрыл двор. Всё спало и только в доме напротив светилось одно окно. Он глубоко вздохнул.

– Благодать, как хорошо, – и все воспоминания вдруг исчезли. – Всё это было, или мне пригрезилось, – мелькнула мысль. Главное сейчас этого ничего нет. Он и вернулся в комнату. Постоял у постели внучки поправил одеяло.

– Я счастливый человек они здесь, – прошептал он, лёг в постель и быстро заснул.

* * *

В большом зале за письменным столом с табличкой «Фрау Грабовски», где Герману предстояло «пройти» второе собеседование, сидела молодая женщина. Светлые волосы спадали за плечи и грудь. Серо – голубые глаза участливо смотрели на посетителя, а губы, слегка тронутые помадой, улыбались. Тёмный деловой костюм из дорогой ткани облегал фигуру, а кремовый платочек в виде цветка кокетливо выглядывал из карманчика. Она была красива. Ухоженные руки спокойно лежали на папке с документами Германа Крюгера.

– Прошу Вас, – приветливо сказала она и указала на кресло.

– Какое лицо... – восхищённо подумал он, – такая женщина не может меня «зарубить». Неуверенность и беспокойство вмиг исчезли. На душе стало спокойно. Он увидел перед собой не чиновника, а очаровательную женщину.

Фрау Грабовски почувствовала это, и её улыбка стала ещё обаятельней.

Едва Герман уселся, она заглянула в папку и спросила:

– Как Ваши родители попали в Казахстан, их депортировали Советские власти? За что, они совершили преступление? Виктор побледнел и с недоумением посмотрел на женщину.

- В документах, лежащих перед вами всё написано.
- Отвечайте на вопросы, господин Крюгер, – раздраженно ответила Грабовски.
- Нет! Они не совершали никаких преступлений. По указу Сталина выселили всех, абсолютно всех немцев, – почти выкрикнул он.
- Почему Вы так плохо говорите на языке, как Вы считаете, своих предков?
- Там, где я жил, не было немецких школ, немецких газет и книг на немецком языке. Многие, услышав немецкую речь, сторонились и не так уж давно, наступило послабление.
- Вы, наверно, ещё и плохо знаете немецкий фольклор, сказки, обычаи.
- Да, плохо, плохо! Сука, – почти неслышно по-русски прошептал Герман. Лицо госпожи Грабовски пошло пятнами. Прикрыв ладонью микрофон, стоящий на столе, она на чистом русском языке ледяным тоном сказала:
- Господин Крюгер, у меня хороший слух, а ещё лучше память. Герман покраснел, ему стало жарко, лоб покрылся испариной. Сняв руку с микрофона, уже другим тоном по-немецки чиновница сказала:
- Итак! Продолжим. Значит, с немецкой культурой вы не знакомы, обычаев не знаете?
- А как я мог всё это знать, если моя бабушка на людях боялась говорить на родном языке? И, пожалуйста, говорите медленнее, я не всё понимаю, – резко ответил он.
- Что! – завопила она. – Вы приехали жить на свою родину и не понимаете простых вопросов? Бог мой... Она побледнела, глаза стали стальными, черты лица заострились и стали хищными. Она резко повернула голову к плоскому монитору, забарабанила пальцами по клавиатуре. Волосы её разметались, обнажив неестественно вытянутое плоское ухо, приплюснутое к голове. А в дряблой мочке зияло отверстие. Да, да, именно зияло. Плоский экран и плоское ухо каким – то нисомверным образом слились в одно целое. Виктор вздрогнул, к горлу подступала тошнота. Это уже была совсем другая женщина. Он едва сдерживал себя, всё сильнее сжимая подлокотники кресла.
- Зачем вы приехали сюда? – продолжала она. – Там вы имели работу, недвижимость. Как видно из документов, Вы школьный учитель. А знаете, сколько здесь безработных учителей? – она зло посмотрела ему в глаза. – Разумеется, здесь вам работу не найти.
- Я приехал сюда как этнический немец на свою Родину в соответствии с законом Федеративной Республики, всё остальное – мои проблемы, – твёрдо отчеканил Герман.
- Ещё несколько вопросов были заданы госпожой Грабовски, уже без энтузиазма. Помолчав, как бы раздумывая, она сказала:

— Господин Герман Крюгер, я буду рекомендовать властям не оставлять Вас в Германии.

Он не дослушал конца фразы, вскочил с места и быстро направился к двери...



На вокзале стояли молча. Моросил мелкий дождь. Герман, сгорбившись, опустив глаза, не переставая курил. Затем подошёл, обнял и поцеловал отца.

— Не хори себя, ты хотел как лучше.

— Сын... — губы Рудольфа дрожали. Он понимал, что сыну придётся начинать жизнь сначала и в этом его, Крюгера, вина.

Жена старика оттеснила мужа в сторону, положила руки ему на плечи и горячо зашептала:

— Прости меня, прости, оставляю тебя одного без присмотра. Ты ведь сам понимаешь, как нужна им помощь и моя пенсия. Глотая слёзы, она что-то долго объясняла, словно не проговорили они всю ночь.

Рудольф держался, гладил её волосы, как мог, успокаивал, и только слегка дрожащие руки выдавали его волнение:

— Ничего, ничего продержусь, ты за меня не беспокойся. Ты сама держись. Мы 45 лет прожили и ещё поживём, ты только не болей. А я здесь достучусь, обязательно достучусь. Не может такого быть, чтоб не достучался.

Поезд тронулся. Она стояла у окна и со страхом думала.

— Вот сейчас, ещё минута, и его уже не будет рядом впервые за долгие, долгие годы. Она молила Бога послать ему силы и здоровье. И ещё дать ей смерть только возле него.

Поезд ушёл. Рудольф ещё долго смотрел ему вслед. Голова была пуста. Все, что было смыслом его жизни, вдруг поглотили сумерки и завеса дождя. Зонт, висевший остриём вниз на его запястье, заполнялся дождевой водой и постепенно раскрывался под её тяжестью. Крюгер не замечал этого, как не чувствовал прилипшей к телу одежды. Тяжело опираясь на палку, он медленно побрёл домой.

Как же я без них, как жить буду? Сейчас открою дверь, а в доме пустота, — думал он. Эти мысли пугали его.

Набухшие облака рассекла молния. Раскат грома на секунду оглушил его. Рудольф, словно очнулся, втянул прохладный воздух, вытряхнул из зонтика воду.

Это уже был человек, которого не сломили ни ссылка, ни унижения, ни нищета, ни болезни.

— Врёте, не сламся, не для того выжил. В одиночестве умирать не буду. Всё равно верну их, — думал он. Крюгеру стало легче. Дома не

переодеваясь быстро сел к столу, и одним махом написал письмо министру внутренних дел. Адвокатам не доверял.

* * *

Время шло, из комочка шерсти появились оранжевые лапки, хвостик и остренькая мордочка с беспокойными чёрными глазками.

— Настало время придумать тебе имя, как думаешь? — сказал Рудольф. У меня была собачка — Лорка. А что, Лорка, не плохо, правда? А лучше Лори, все-таки живём в Германии.

Лори быстро превращалась во взрослого зверька с белоснежной лоснящейся шерсткой и чувствовала себя в его доме хозяйкой. Когда Крюгер уходил по делам, она обычно забиралась на подоконник, укладывалась между цветочными горшками и дремала на солнце. А когда возвращался, таскалась за ним по квартире, выпрашивая угощение. Лори брала еду двумя лапками и быстро куда — то прятала. Потом взбиралась к Рудольфу на колени, потом на плечи. Долго не засиживалась и по спине, цепляясь за сорочку, опускалась на пол.

Так и жили вместе, медлительный старый человек и непоседливое маленькое существо.

* * *

Три письма направил Рудольф в разные инстанции, требуя справедливости. Ответов не было. Он бодрился, пересказывал Лори содержание жалоб, читал ей письма жены и все приходящие документы. Она слушала, потом, убаюканная его бормотанием, свернувшись клубочком, засыпала. Крюгер злился.

— Эх, Лори! Когда они все вернутся, знаешь, как мы заживём!? — К горлу подкатил комок и уже другим, поникшим голосом тихо произнёс: Молчишь, животинка. Если говорить не можешь, то хоть не спи! Голос Крюгера окреп. Он грозился не брать её на прогулки, но никогда этого не делал. Они почти не расставались. Рудольф сажал её на плечо, садился на старенький велосипед, и они не спеша катили по старому парку, тихим улочкам, иногда отдыхали на скамьях у фонтана. Изувеченная правая нога не сгибалась и он крутил педали одной левой. Свой маршрут по парку Рудольф проделывал каждый день и знал здесь каждую рытвину, каждый камень. Хруст гравия под колёсами велосипеда не мешал ему разговаривать с Лори. Обычно она сидела у него на плече, иногда по спине умудрялась спускаться на багажник за велосипедным сидением. Особенно Крюгер любил аллею у парковой изгороди. Стоящие напротив друг друга деревья переплели кроны, образуя тенистый шатёр. Даже в самые жаркие дни здесь гулял лёгкий ветерок, шевеля разлапистыми листьями. Аллея заканчивалась поляной. Её называли Карловой. Молодые деревья, окружив старый платан, распра-

вив ветви, весело покачивая кронами, купались в лучах солнца. Грелся на солнце и «патриарх». Его мощный ствол, сбросив кору, побурел и, обдуваемый ветрами, стал гладким. Он был почти голым. Только в некоторых местах остатки коры камуфляжем опоясывали чресла. Он наполовину усох и как часовой на посту стойко ждал своей участи. Какой – то шутник белой краской написал на нём – Карл. Верхушку дерева срубила молния, оставив лишь две большие сухие ветки, похожие на морщинистые старческие руки. Взметнувшись к небу, они просили помощи и защиты.

Рудольф подкатил к старому знакомцу, похлопал его по стволу и закричал:

– Привет старик, мы пришли к тебе в гости. Не печалься, друг, ты ещё сильный и прстоишь сто лет! Мы поживём ещё, старина - Карл, поживем, повоюем. Правда, Лори? Мне грустно видеть тебя таким. Ты очень подался за последнее время, мне это не нравится.

Лори заволновалась, забралась Крюгеру на плечи и подсунула мордочку под воротник рубашки. Она не любила шума и пугалась громких криков.

* * *

Рудольф переехал в однокомнатную квартиру. Сэкономленные деньги посылал жене, а в письмах объяснялся в любви, чего не делал очень давно. Адвоката всё-таки пришлось нанимать. В ответах из различных ведомств, после перечисления многочисленных параграфов, звучал один и тот же рефрен «...в установленном порядке». С таким порядком Крамер не хотел соглашаться, и жалобы летели во все концы.

Осень выдалось холодная и дождливая. Суставы ныли и не давали заснуть. Вечерами, не зажигая свет, он садился к окну и прижимал ноги к батарее. Лори взбиралась к нему на колени, становилась на задние лапки, обхватывала передними одну из тёплых секций, прижималась животом и так замирала.

– Эх, Лори, дождёмся ли мы своих? – и тут же добавил: – Дождёмся, обязательно дождёмся, ты не думай, вот к весне и дождемся. Нас ведь двое, так и ждать легче, правда? Лори завозилась, повернула к нему мордочку и опять замерла.

– Вот если бы ты хоть немного говорила, – вздохнул он, – как бы славно было, а то молчишь и молчишь. Знаю, не дано тебе это Богом, а жаль. Спасибо, хоть понимаешь. Лори опять завозилась, поскреблась задними лапками, повернулась и стала греть спинку.

В редкие дни, когда показывалось солнце, они продолжали прогулки, навещая старого Карла.

В этот день, подкатывая к знакомой поляне, Рудольф крикнул:

– Лори, нужно подбодрить нашего Карла, каково ему голому в такие

погоды.

А когда подъехал, остолбенел. У дорожки лежали аккуратно сложенные метровые брёвна, а на верхнем из них белела надпись – Карл. Рудольф прислонил велосипед к поленнице и закурил.

– Лори, они убили его, – тихо сказал Рудольф. – Что творится на свете? Бедный Карл, он долго сопротивлялся. Ещё один товарищ покинул нас.

Лори прыгнула на брёвна, засуетилась, обнюхала надпись, словно что-то понимала, и быстро забралась к нему на плечи.

– Да... дела, – вздохнул Крюгер и печально добавил: Мы теперь остались вдвоём.

Темнело. Они медленно катили домой.

– Здесь все перекопано, не бегай по спине, держись, – волновался Рудольф.

– Лори, канава! – крикнул он... Велосипед вздрогнул, Лори пискнула.

– Потерпи, милая, скоро будем дома, там ждёт тебя угощение. Он ещё долго крутил педали, рассказывая ей, какое угощение её ждёт, распространялся о несправедливости, чёрствости, и что это, упаси Боже, к ней не относится.

Они любили друг друга – человек и белая крыса.

Крюгер ещё не знал, что Лори не удержалась, свалилась на парковую дорожку и юркнула в темноту.

30.03.05

СУПНИК

(Этюд с натуры)

Я лечусь у русскоговорящих врачей, где нередко встречаю своих земляков – одесситов. Стоит закрыть глаза, прислушаться – и мне кажется, что я сижу в Городском саду на Дерибасовской и сквозь неумолчное журчание фонтана слышу свой город.

Но это Берлин.

Вот и сегодня в комнату ожидания входит большая, полная дама лет 75. Рот её плотно сжат, глаза сурово смотрят на сидящих пациентов, словно они хотят отобрать у неё что-то самое дорогое. Огромные груди беспокойно шевелятся под ярким платьем, как футбольные мячи в сетке футболиста, идущего на тренировку. В её ладони утонула ручка маленького, худощавого старичка на голову ниже её ростом. В свободной руке у него толстенная книга. На нём аккуратно сидит тёмный твидовый костюм, а туфли блестят, как новые пятики.

– Садись, Лёвочка! – громко велит женщина и тоже опускается в

кресло. Металлические направляющие сидения жалобно лязгнули, как буфера столкнувшихся железнодорожных вагонов.

– О чём эта книга, Лёва? – строго спросила она.

– Не знаю, только взял из библиотеки.

Что значит, не знаешь? А ну дай сюда! Я так и знала. Посмотри на эти буквы, Лёва. Можно подумать, что ты что-то увидишь. Ну, читай уже, читай, не теряй времени. Ах...! Нужно иметь соображение, чтобы взять такую толстую книгу. Тебе что, так много осталось...? Она тяжело вздыхает.

– Ты считаешь, что я скоро умру, – робко улыбается он.

– Типун тебе на язык, Лёвочка. Я этого не сказала, просто зачем рисковать? И неизвестно, кто раньше. Разве тебя интересует, как я себя чувствую, а вот читать за проституток дни и ночи ты можешь. А потом всю ночь «крехцаешь*». Иди уже к врачу, малхамовэс**, тебя зовут, и не забудь после застегнуть ширинку, – он посмотрел на неё с укоризной, – не смотри на меня так, ты иногда забываешь не только её застегнуть, но и положить своё хозяйство на место. Да, я знаю, это неприятно слышать, но это же правда.

Дама умолкла. Большие пальцы сцепленных рук, лежащих на коленях, закрутились, как две белки, догоняющие друг друга в некоем крохотном колесе. Она нервничала. Все её мысли были там, в кабинете, где её Лёвочку осматривал врач. Чтобы отвлечься, нужно было с кем-то поговорить. Взгляд её задержался на пустом кресле рядом с молодой женщиной, и она быстро села рядом.

– Дамочка, вы из наших?

– Наверное, да.

– Откуда вы сами будете?

– Из Питера.

Из Ленинграда? Слушайте, там же одни бандиты! Идет себе человек по улице, думает за хорошее, а из чердака в него стреляют и убивают насмерть. Ну как можно, как можно стрелять в живого человека, я вас спрашиваю?!

– А Вы, наверное, из Могилева? – спросила полная знакомая.

Ну что за люди, – всплеснула руками полная женщина, как только узнают, что его зовут Лёва, сразу считают, что он из Могилёва. Чтоб Вам было известно, мы – таки из Одессы. Сложив руки на груди, она гордо посмотрела на собеседницу.

– Извините меня! Я знаю, что Одесса интересный город.

– Или!

– Но я там никогда там не была.

– Вы никогда не были в Одессе? Это большое для Вас несчастье.

– Дама

Она покачала головой. А за «Привоз» слышали?

Соседка пожала плечами. Полная женщина с жалостью посмотрела на неё.

— Вот послушайте, к примеру, вам нужно пару крылышек на бульончик для ребёнка или пару задних четвертей на жаркое. Идёте себе от ворот прямо, туда, где стоят с курами, и берёте всё, что вам нужно. Или захотели овечью бринзачку, идите ещё дальше и попадёте в молочный корпус, а там... — она покачала головой. — А если вам, не дай бог, нужно золотое колечко по сходной цене, так поверните направо, где торгуют красками. Подойдите до цыган и скажите старшенькому: «Я от дяди Йоси», и сразу получите ответ: «К вашим услугам, мадам» — и всё, больше ничего не нужно объяснять.

Она мечтательно вздыхает.

— А какие люди жили в Одессе. Даже наши бандиты — это было что-то особенное. Возьмите хотя бы Беню Крика. — Не спорьте, был, мне же лучше знать. Это человек с тонкой еврейской душой. А Мишка Япончик, тоже наша душа, точно знаю. Я уже не говорю за погромы. У нас были такие погромы, пальчики оближешь. Ну а потом, при Советах. «Мишка режет Кабана», о, это был такой бандит... он крутился на одной ноге и пел: «гричаныки, гричаныки, а жида начальники», — пел, пел, а потом оказалось, что он турецкий шпион. А Карабас, вы не слыхали за Карабаса, это же был главный бандит Советского Союза.

Какие люди были, какие хозяйственные люди!? Возьмите хотя бы Синицу. Не какая, дамочка, а какой. На минуточку, он был секретарь обкома. Что вы знаете, дамочка... Хороший был семьянин, хороший, он так любил свою жену, что построил большой железный мост для тещи, чтобы ей было близко ходить до дочки. А Эдик Гурвинц, бывший мэр, тоже был хорошим хозяином толчка на седьмом километре. Или возьмите теперешнего мэра Боделана, все аптеки и санатории города подарил жене. А мой за 50 лет ни одного цветка. Но что делать, каждому своё. Дай Бог Лёвке здоровья.

Она заволновалась, легко поднялась, подошла к двери кабинета врача и прислушалась. Потом вернулась на своё место.

— Готыню, Готыню, — шептала она, — как вы думаете, — повернулась к соседке, — когда Лёпочка один у доктора, я могу быть за него спокойная?

— А что же?

— А..., я вас умоляю, эти доктора, я ему таки самый лучший врач, чтоб вы знали. Она помолчала. — Женщина, я вам скажу всю правду, как родной матери, он сильно истрепался.

Когда-то это был настоящий бандит. Глаза соседки сузились.

Не, не думайте, что он убивал или, не дай Бог, грабил. Он просто был большой сулник. Я вас спрашиваю, дамочка, есть разница между бандитом и супником и сама же отвечаю: никакой. Вы не знаете, что такое супник? Не знаете? Это мужчина, который каждый раз ест суп у других баб, вы меня понимаете? Что значит «терпела»? Когда узнавала, брала подругу

Хасю, Царство ей небесное, красный кирпич и шла бить стёкла. Таки пол года было спокойно. Дай Бог, чтоб у вас было столько здоровья, сколько окон я побила.

– Причём здесь я, причём здесь моё здоровье? – возмущалась собеседница. – Вам всю жизнь изменял муж, а вы так пекётесь о его здоровье, продолжала она удивляться.

– Дамочка, я на вас удивляюсь, но это же мой супник, мой, и что вы смотрите на меня такими зверскими глазами? Я вас чем-то обидела, вы не хотите иметь здоровье? Так не надо, так не фонтан, так не шприцает.

– Извините, у меня просто один глаз стеклянный.

– Боже мой, боже мой, что же вы раньше не сказали. Мужчина...? Она поцокала языком. Расскажите подробней, как это произошло, я вам что-то посоветую.

– Ай, бросьте, что вы можете мне посоветовать?

– Дамочка, я не перестаю на вас удивляться. 15 лет я проработала санитаркой в еврейской больнице. Вы знаете за еврейскую больницу в Одессе? Нет? Мне вас жалко. Я смотрю, вас воспитывали на остатках принципа. В этой больнице каждый врач – профессор, каждая сестра – врач, каждая санитарка – фельдшер. Так я могу вам что – то посоветовать? То-то же. Вы такая бледенькая. Скажите, у вас есть любовник?

– У меня есть муж и всё.

– Я вам сочувствую. В вашем возрасте нужен второй мужчина, – она покачала головой.

– Вы сумасшедшая! – Возмутилась соседка.

– Ша! Пусть будет ша! Не горячитесь, что я такое сказала? Скажу по правде: один глаз не предел.

– Что значит не предел? Я могу потерять второй глаз?

– Нет, нет, Боже сохрани. Это не предел, что бы завести хахеля. Конечно, если муж узнает, он может выбить и второй глаз, но это редко. Соседка побледнела.

– Откуда вы знаете?

– Дамочка, когда вам стукнет столько, сколько мне..., – она осеклась, ша, я не имею права оглашать.

– Вы что вчера поженились?

Почему вчера, мы уже живём 50 лет.

И муж не знает, сколько вам лет? – Запомните, дамочка, жена для мужа всегда должна быть немножечко загадкой.

В дверном проёме комнаты ожидания появился маленький старичок с сияющей улыбкой.

Бебочка! – воскликнул он. – У меня упал сахар!

Из ширинки весело выглядывала лапа белой сорочки с перламутровой пуговичкой на её конце.

*крехцаешь - (просторечье) – идиш - стонешь.

**малхамовэс – (просторечье) – идиш – смерть моя

КИРИЛЛ РОМАНОВСКИЙ

«И будешь ты, как шут, одет на вкус
Моей эпохи: фракной и сюртучной»
В. Набоков

Стихи Набокова, упавшие на стол...
пятак прямоугольников, пробитых
машинным письмом.
Вязкое «не то»
поэзии выюнком нещадно перевито.

Искрой среди стен – конкретика окна.
эклектика стеклянной рефлексии.
Скользит меж строк прозрачное «она»
прохладным
поцелуем
с уст
Мессии...

«И аз воздам!»
Я всё перенесу,
Угрозы не страшны, безвкусны вина.
«Ты очутился в сумрачном лесу,
свой путь земной пройдя до половины»

Не знаю философии иной,
чем разум твой вотще пытаться цитатой.
«шестнадцать строк», написанные мной,
В твоём недоумении виноваты.

Парадигма! Сентябрь, пора!
Ржавин яркой плесни на крыши...
Я всё слышал... В углу с утра
Не твои ли шуршали мыши?

Не твои ли платаны шли
Вдоль проспектов в цветных мундирах,
Не нуждаясь ни в командирах,
Ни в оркестре... C'était joli...

Si on parl' entre nous mon ange:
Это осень... Сто раз воспета,
Ибо вновь растворилось лето –
Цвето-цитрусовый меланж.

Победил, победил подлец...
Делать нечего: вон из дома!
Убегает с чужих крылец
Лето, вихрем листвы ведомо.

Он придет со всех сторон
На вокзал, где гудки и тени...
На забытый, пустой перрон
Ступит первый денёк осенний.

Что скрывать: все стихи написаны,
Поиссякли живые темы.
Пролетариев дразнит висами –
Оскоплённая рать богемы.

Мне «не в падлу» швырять бутылками
В новомодные субкультуры.
Смело сталкивать их затылками,
Возглашая: «Попались, дуры!»

Я не сноб, не наркот, не выжига,
(Хоть порою люблю поддаты)
Не стремлюсь я, Евтерпой подвижимый,
За самим собой наблюдать.

Я не фюрер, не Лист, не Батюшков
Хоть муру творю ежечасно.
Мне предстать пред Небесным Батюшкой
Дюже стрёмно... Да не опасно.

Мысль во тьме начинает ворочаться,
Мой ночной покой не шадя.
Что же делать, коль дурню хочется
Пощелуев на площадях?!

Чтобы город расцвёл югендштилями,
Громким цоканьем об асфальт.
Чтобы под протестантскими шпилями
Застонал ашкеназский альт.

Чтобы твист завинтил над бульварами
Белозубый негр – рояль.
Чтоб бомонд беспричинными сварами
Опрокидывал Place Pigale.

Вот стою и ушами хлопаю:
Здравствуй, ветхий двадцатый век!

Что ж ты сделал с моей Европою,
Смуглолицый бык-человек?!
Обрастаешь, как жиром, избытками
Конформизма да кормишь вшу!
Да! Я здешний! Пою изжитками!
И изжитками я дышу!
Не разложится, нет! Не изгонится
Чадроносная толкотня.
Ах! Аттилово чудо – конница
Пред тобою фигой-фигня.
Прорастает мечеть испоинская:
Бирюзовый блестящий гриб...
Эй! «Салям!», Анкара Берлинская!
И «алейкум!», Париж – Магриб!



Который год брожу бесцельно
Средь атавизмов городских,
Себя осмыслив параллельно
В клубках псрипетий людских.
Ни Фебу, ни слепой Фемиде
Не услышать моей мольбы...
Не о чужой прошу планиде –
О сходстве чувства и судьбы!
О Боги! Неужели твари
Достойны более меня
Мерцать средь жизненных аварий
Частичкой вечного огня?
Неужто чувство посещает
Лишь тех, кто не ища любви,
Любовью мыслит и вещает...
А всяк другой кричи, зови...
Не зависть сковывает дёсны,
Ап зуб неймёт... Поди пойми,
На что свои потратил вёсны...
На восхищение людьми?!
Клубком аморфных колыханий
Соборы сплюнули набат...
В тени берлинских тяжких зданий
Целует девушку солдат...

ДМИТРИЙ БЕЛЯЛОВ

СЛУШАЙ И МОЛЧИ

Он спустился к реке.
Он увидел пожары вокруг.
Сколько вёрст пробежал,
До виденья, что сердце порвало.
Где казнили друг друга,
Где плахой боролись со злом:
«Только б просто любить» –
Это крик его, стон его горла...

Уж просохла слеза, когда он
в обгоревшую хату ступил.
Там, где мама его
спокон веку жила.
Серебро её прядей
своей мудростью
в душу глядела.
Сердце слышит,
и шепот её для него
– вот блаженство.

«Боль – она нам душа –
Она нам сестрица, сынок...
Нас покинет она
Вместе с нами.
Песня нам на закате, –
Для того она, видно, сынок
Нам дана, чтобы горе излить,
Красоту чтоб вдохнуть
Вместе с древними чудо-словами.

Слобода наша вечно больна
И ей легче, наверно, не будет...
Не броди ты по миру, сынок,
Не ищи града Китежа след...
Отправляйся в туман,
Он поймёт тебя и приглубит,
К иве ты прислонись,
И утешься под тенью её.

На змлицу присядь,
Звуки леса тебя взбудоражат.
А Борей, прошу, только слушай
и не прекослови...
Он дыханьем своим
Тебе радость с любовью подарит.
Но прошу я, сынок,
Слушай только и только молчи»

СЛУШАЙ И МОЛЧИ

(Песня северного ветра)

Туман поцеловал его
покоем в лоб.
А ивушка
смирненным утешеньем
в губы дышит;
И вот Борей, как обещал,
повеял: обьял озноб...
И для нутра блаженство –
этот шепот;
И сердце его слышит:
«Теки, Сынок, теки,
ко мне вовнутрь –
не останавливайся по злобе
на полпути.
Наставника вымаливал?
Он много дал тебе:
всю совесть-удаль!
Ты слышишь ... ту,
что всё тоской грызёт,
при объяснении в любви?
Больна свобода наша,
всегда была больна
под игом нечисти!
Вот глобалистка-девчонка,
она под глыбою
нечестности-бесчестья
Но... правда лишь
в молчаньи мудром,
напоённом совестью...
Ог сердца мысль добра
сердиться-средниться.

Не мучайся, сынок,
успеют без тебя опять
И всё, и вся загадить.
Выход у тебя один:
«Любить и красотить всё,
И не похабить,
но оправдать и всё, и вся.
Младые истины,
из прелестей своих,
лишь правдою умнеть должны:
И только правдой
ты распрекрасное себе родишь!
Со всех сторон тебе
пути-лучи разрешены.
для этого открыты.
Но только...
если бы ко мне в средину,
в самый жар шагаешь.
Но душу тёмную
ты не накажешь,
не запретишь!
...Не прекословь, сынок,
а слушай и молчи.
Её ты лишь утешить можешь,
утихомирить лишь.
Сынок, ты только
слушай и молчи...»

НОРА ГАЙДУКОВА

ЭПИЛОГ

Все позади – завешено окно.
И мы с тобой стоим на этой сцене.
Играем отголоски сновидений
И эпилог... Расстаться суждено.

Всё позади. Но, как в воздушном шаре,
Осталось что-то неподвластно дням.
Огонь погас, но отблески пожариш
По-прежнему нам светит по ночам.

Мелькнёт лицо – подобье силуэта.
Походка. Голос. Нет, совсем не то.
Но память сохранит: преддверье лета,
Твоё, давно не модное, пальто.

И дом, и бесконечные ступени,
открытой двери скошенный излом.
И радость от короткого мгновенья,
Когда недолго были мы вдвоём.

ОСЕННИЙ ЭТЮД

(подражание Маньесю1)

Облетают последние листья.
Я сижу у окна.
Падают капли дождя.
Серое небо грустит.
Слёзы сегодня сдержу я.

Облетают последние листья.
Но цветы на моём балконе
Всё также свежи и прекрасны.
Так было и будет всегда.
Это никто не отнимет

Облетают последние листья.
Катит мусорщик свою ношу.
Улица будет чистой,
Хотя, может быть, и недолго.
У каждого своё счастье.

Облетают последние листья.
Осень вселяет страх.
Редкие блики солнца
Или глаза ребёнка –
Всё остальное – мрак.

Облетают последние листья
Птицы сидят на ветке.
Им хорошо вдвоём.
Зачем терзасм друг друга?
Ради чего живём?

Облетают последние листья.
Одиночество в дверь грохочет.
Как от него укрыться?
Входи и садись за стол.
Ведь ты у меня надолго...

ВЕСЕННИЙ ЭТЮД *(подражание Маньесю2)*

Нетерпеливый месяц март.
Кто в тёплых куртках, кто в исподнем.
Закончится перстом Господним
И Воскресенью будет рад
Уже две тыщи лет подряд.

Нетерпеливый месяц март.
Молились мы всю ночь за Папста,
Святым он навсегда остался.
Не знал ни пенсии, ни лени
И за грехи давал прощенье.

Нетерпеливый месяц март.
Всё тот же мусор носит ветер,
Но чуточку теплей на свете,
Щебечут птицы на рассвете,
Готова к лету свой наряд.

Нетерпеливый месяц март,
Всё те же нищие в подземке,
Все кланчут деньги по-немецки.
Осточертелый маскарад
И безнадежности парад.

Нетерпеливый месяц март.
Мы живы будем, и весною
Опять увидимся с тобою
И, может быть, найдём опять
То, что сумели потерять.

Нетерпеливый месяц март.
В кафе на мостике горбатым
Присядем с лаче-мачеато
С подругой старою болтать
И радость жизни ощущать...

ВАЛЬС В ПОДЗЕМНОМ ПЕРЕХОДЕ

Он играет на гитаре в переходе
При народе, равнодушном по природе.
Те мелодии, что прежде
Дали повод для надежды,
Те мелодии, что прежде были в моде.

Про Париж и поцелуй под луною,
Где когда-то целовались мы с тобою.
Может, раньше, может, позже
Целовался там он тоже,
Пусть у моря и под звёздами с луною.

Он играет одиноко в переходе,
А душа его летает на свободе.
Только старая гитара,
Вот его судьба и пара,
И летят они вокруг Земного Шара...

МЕФИСТО ПРИХОДИТ НЕ КО ВСЕМ

...Время придёт, и наступит час...

(Из ненапечатанного)

И было:

Собралась одна компания посидеть, то есть гульнуть.

Выпили, закусили, опять выпили. Языки развязались. Кто на кого зуб имел – куснул. Разговор за разговор коснулись темы серьёзной, тонкой. Речь шла о Боге. И посыпались мнения: кто был за Него, кто – против. Страсти накалялись, запахло скандалом, но пронесло. Тем временем водка кончилась, гости заскучили, некоторые собрались уходить, а Алик и Рахель всё ещё продолжали спорить, доказывать, отстаивать – каждый свою точку зрения.

Рахель была неистово – за Него, Алик неистово – против. Она к Нему с бесконечной любовью, он с неверием и злобой, упрямо утверждая, что он сам себе бог, что всего в жизни добился своими руками и своей головой. Но было точно известно, что Алик не находит себе покоя от того, что его не любит жена, и ничего особенного в жизни он не добился. Рахель убеждала, что смыслом жизни является Он – Создатель всего сущего, и вера в Него. Доказывала, что Его мир полон чудес, их нужно только хотеть разглядеть...

И было:

Приснился ей в ту ночь сон. В абсолютном мраке, по чёрной, по болотному неподвижной воде медленно плывёт корабль колоссальных размеров. На нём люди занимаются обычными делами: одни гуляют, другие стоят без дела, третьи смеются, четвёртые бранятся. Тут злословят, там хитрят, строят козни.

Вдруг темнота осветилась как бы отблеском костра в ночи. То удлинняясь, то укорачиваясь, заскользили по палубе как живые, причудливые и устрашающие тени, посыпались, обжигая и опалая всё вокруг, горячие искры.

...Ад ассоциируется у нас традиционно со злом, дьяволом, иногда с именем: Мефисто. Не скуки ли ради он провоцирует людей? Потворствует воровству и обману, убийству и насилию. Им, бедным, и так нелегко, оттого, что никто толком не знает, что хорошо, а что – плохо. За что уцепиться, когда совсем плохо, и как не загордиться, когда всё хорошо. И все феноменально безгрешны. В проблемах, заботах, несчастьях всегда виноват кто-либо другой, только не он сам.

... И вдруг появляется Мефисто! Известно откуда именно. Но точно – откуда-то снизу. Огромного роста, в облике – мощь. Выступил гордо и напыщенно, будто на праздник явился. В чёрной атласной накидке с высоким стоячим воротом. Ноги, вроде козлиных, с раздвоенными копытами и со шпорами сзади, а руки почему-то человеческие. Могучий, гордый, по-своему элегантный, даже симпатию вызывает. Подпрыгнет, пролетит, станет на пружинистых звериных ногах и начинает вертеть рогатой головой, как разъярённый бык. Пышет жаром, морда страшная, зло-

бная, шея могучая цвета темной крови, рога чёрные гигантские, кольцообразно загнуты вовнутрь. В бездонных, чёрных глазах блуждает недобрый огонь. Стукнет копытом — и летят искры во все стороны. А кругом хаос... хаос. Воили обзудевших людей, всех, без исключения. Как мелки они, по сравнению с пришельцем, — как позорно расползаются по щелям.

Бегут, пытаются спастись, сваливаются за борт.

Ха-ха-ха! — раскатывается громогласный хохот, да так, что уши режет. Накалённое адским пламенем копьё в руках нетерпеливо дрожит. Он поворачивает огромную голову и ...О, бедняга Алик, такой уверенный в своей правоте, обнаружен, пойман и проколот пассивно! Рахель тоже здесь, на палубе. Она торопится спрятать мужа за какие-то ящики:

— Сиди тихо, — говорит она ему, — мы связаны супружескими узами, тебя накажут, отразится на мне. Только лишь сказала, как оказалась лицом к лицу с Мефисто. Выпрямилась, стала перед исполнимым и уставилась без страха в обрамлённую рогами морду. Стояла молча с запрокинутой головой и с интересом разглядывала чудовище с человеческим обликом. Она видела, с какой иронией и насмешкой наблюдал Мефисто за мизерными по сравнению с ним человечками, спешившими укрыться подальше. Даже не надо было заглядывать в глаза Дьяволу.

А Мефисто читал в её взгляде:

— Ну не притворяйся, что не узнал меня... Сколько раз ты пытался влететь и сломать мою жизнь.

Мерзавцев насылал, чтоб жалили больно и над достоинством моим глумились, в этом ты преуспел. Как-то ночью даже сам приложил руку к горлу, пытаюсь задушить меня и оставить моих детей сиротами. Вспомни, как мы с тобой воевали? Ты стоял за дверью, пытаюсь ворваться в мой дом, но я держала её изо всех сил. Ты ломился, а я не сдавалась. Тогда Некто, видя мои усилия, встал на мою защиту и прогнал тебя прочь. И опять ты здесь? Для чего теперь? Перестанешь ли, наконец, меня преследовать? Не побороть тебе моего Ангела-Хранителя.

Мефисто был ошеломлён её смелостью, он не выдержал и отвернулся...

Короткое отступление:

Имеет ли право какой-то падший, злобный, не утверждаю — предполагаю, Ангел, искушать?

Кого он в силах совратить, как вы считаете? Не тот ли это змей, который нас...в нас...

А Мефисто также крутит головой, зорко смотрит по сторонам. Там кого-то замечет, тут кого-то обнаружит и сразу же берёт на прицел. Из-под копыт искры, взгляд нагоняет страх, копьё бьёт без промаха и говорит он полупрошепотом:

— Всегда одно и то же. Скучно. Тошно. Появляюсь в самый подходящий момент, когда у них слезь через край льётся... Вот, думаю, пойду, всех безбожников истреблю, выслужусь, тогда может Пресвятой простит мне мои грехи и вернёт под Свой крыло. А как тут выслужиться? Расползается вся эта слякоть в страхе, хоть бы о чём-нибудь пожалели!

— Так значит ты выслуживаешься, копьём орудуя? — не удержалась Рахель.

– Чтооооо? Кто мне тут вопросы задаёт? А, это ты, искательница Истины... Он так велит, ясно?

– Нет, не ясно.

– Тебя Он покарал, это ясно, ведь было за что. Не восстал бы против Всеблагого, не пришлось бы тебе всю жизнь выслуживаться...

– Мало тебе этого, так ты ещё Его создания искушаешь. Нашёл кого соблазнять, знаешь ведь, что с примесью глины они и слабее тебя, и обольстить их ничего не стоит. Страшен ты и силен безмерно, и жаром отдашь дьявольским. Надсмехаешься над убогими, слабыми, а вот я тебя не боюсь, хоть лопни, потому что я верю в своего Спасителя! Верю всем сердцем. Поэтому ты мне ничего плохого сделать не сможешь, у тебя и раньше это не получалось и никогда не получится.

Крепкими узами мы связаны – мой Создатель и я!

– Ну, развела!.. Побойся вступать со мной в спор, не человек я, не разговорами пришёл заниматься. Слышал, правда, что любознательная ты и, несмотря на житейские испытания и невзгоды, всё до Истины докопаться хочешь. Так уж и быть, слушай! Живёте вы и не знаете, что каждый день ваш – смыслом наполнен. Всё, что делаете или говорите фиксируется, анализируется и к вам не возвращается. Ничего не пропадает и ничего не исчезает. Страдасте – причина – страдание радуетесь даруя радость. Полюбуйся на эту знаменитость, (он указал копьём): идёт горделиво, ни с кем не считается. А почему? Потому что поклонники и прихлебатели подняли эту пустоту на пьедестал. Но сейчас до него долетят пару горячих искорок, подкосят ему ноги, обуглят руки и свернут набок голову, а как иначе сбить с него спесь? Продолжать? Не надоело? Вот ещё один, взгляни, ух, не могу видеть этого мерзавца, скопидома, дурака. Побегает он у меня по миру в лохмотьях, с протянутой рукой. Ну всё!

Кажется всё. Ухожу. Ах, тут ещё одна стерва! Что, руки не отмываются?

– Скольких убил?

Многих...

– И что?

– Убитые покоя не дают.

– Покоя захотел? Думал отвечать не придётся?

– А ты-то, лучше? – корчился от боли, держась за живот, полноватый мужчина. – Учишь тут всех.

– Тебе даже до меня далеко, – расхохотался Мефисто. – Что, больно?

– Ты меня, гад, копьём задел.

– Я тебя приструнил. Вот закончится прокат и придёт за твоей грешной душой другой Ангел, – Ангел смерти!

Рахель поняла, что не за ней пришёл. Ей стало ясно, что пышней силе ни почём ни заслоны, ни загородки, ни жёны, за спинами которых прячутся коварные мужья, ни мужья, попустительствующие вероломности жён. И если уж поздно, то ни криками, ни мольбой не выпросить пощады...

Наконец, Мефисто остановился, перестал орудовать копьём, опалить огнём...

И всё! И исчез внезапно! Пропал – и дым улёгся!

ВАЛЕРИЙ МАГОЦКИЙ

КОНЬ СТРЕНОЖЕННЫЙ

Сегодня – таяло,
Как грех заброшенный...
Сегодня – таяло,
Как Бог продолженный.
А завтра – шло ко мне,
Как конь стреноженный.
Как ноль в окне –
На ноль помноженный.
И между двух,
Застрав во времени,
Я пришартован
Стал ко стремени.
И мчал вперёд,
Как конь стреноженный.
И зрел во мне,
Как грех заброшенный,
Во много раз
На ноль умноженный,
Тот бог – в себе,
В меня проложенный...

.....
И в этом месте,
Сбившись с времени,
Я стал себе –
Тяжёлым бременем...

ПОГОНЯ

По коням, по коням!
И – цокот копыт!
Погоня, погоня!
И падает небо!
Как в прорванный невод –
Чешуями рыб;

Западенной пеной, –
Срываются кони!

Погоня, погоня!
И воздух горит
Клинками вперёд,
На летящие пули!

И в каждом струной
Раскалённой звенит:

Догоним! Догоним!
Дразнящие збруи!

ПРОНИКАЕМОСТЬ

Мягкость,
Вечер,
Ласковый ветер!
Чуткость,
Чувственность,
Красота.
Обнаженность,
Доверчивость...
Речи!
Прикасаемость,
Ожидаемость,
Проникаемость,
Глубина.

НЕИЗБЕЖНОСТЬ ЛЮБВИ

«Сказать, что ты...»

И. Бродский

Сказать, что ты – нежнее тени...
её – летучей?
Коварнее и мягче лепи?
Крапивы – жгучей?..
Тону в узор – твоих ладоней,
морскою птицей...
Побег, погоня, розы, кони,
глаза, ресницы...
Песок и время, в горячем споре –
чему ты ближе?
Вода же шепчет: ты сладкой боли –
сильней и тише.
Мне дни бормочут – мы дети тлена,
в краю забвенья.
А ты хохочешь, в объятьях плена
у вдохновенья.
Сказать, что ты – ясней и хищней,
греховных мыслей?
Ты – неизбежность любви и чище –
слезы на листьях...

ГОРОД МОЙ

Невский.
Питерский.
Адмиралтейский.
Петропавловский.
Золотой.

Елисейский.
Думский.
Вечный.
Разлиненный
И шальной.

Исаакиевский.
Эрмитажный.
Летнесадовый.
Мостовой.

И каналами
Арочно-влажный —
Сквозь рострально-
Колонный рой.

Белоночный.
Гостинодворый.
Сфинксокаменный.
Роковой.

Город — муза.
Соборно-славленный.
Город — призрак.
Львино-морской.

ЖАЛОБЫ СТРУН

Раненый рыцарь...
Арабский скакун,
Бархат тигрицы,
Жалобы струн...

Ласка струится —
Грустью вразлёт!
Гордою птицей,
Соколом -- бьёт!

Лебедь и омут...
Огненный жгут.
Страстные стоны —
Кровью минут!

Судорог пряжи,
Запахи губ...
Горечь объятий,
Сладостных пут.

Рваные узы...
Серебряный гнёт.
Слёзы и музы,
Странный полёт.

БАТЯР

Любой город имеет или, во всяком случае, должен иметь, своё неповторимое лицо. Особенности города в той или иной мере сказываются на характере его обитателей. Впрочем, зависимость здесь обоюдная.

Львов конца сороковых – начала пятидесятых годов XX века был смешением различных культур, языков и архитектурных стилей. Львовские бабульки, донашивавшие ещё польские шляпки с перьями, и грубоватые «гендляры» на краковском базаре, выкрикивающие надтреснутым басом что-то о невероятных достоинствах курительной бумаги, средства от клопов и порошка от пота ног были привычными персонажами.

По латыни название города особенно благозвучно – *Leopolis*.

Ещё не так давно, в начале прошлого века, львовским недорослям в гимназиях латынь вдальбивалась в больших дозах. Бельфры, так презрительно звучало наименование гимназических учителей, заставляли их зазубривать обширные отрывки из Овидия, Сенеки и речей Цицерона, что у недорослей особого восторга не вызывало.

Некоторые львовяне и до сих пор всё же считают, что латынь – это прививка от одичания. Осколки латыни и сейчас ещё разбросаны по Львову в виде надписей на фронтонах старинных зданий.

Обыденная речь здесь всегда имеет слегка ироничный оттенок. Львовский диалект (причудливое смешение украинского, польского, немецкого и идиш) отчётливо слышится сквозь шум в дребезжащем, одном из самых старинных в Европе, трамвае. Он вплетается в дымную атмосферу пивных, он узнаваем в речах львовских учёных мужей на конгрессах и симпозиумах, даже если эти речи произносятся по-английски с латинскими цитатами. Львовянина легко можно отличить поговору вне зависимости от его национальности.

Слово «батар», заимствованное у ленинградцев, знакомо здесь любому. В этом понятии уместился и разбитной мальчишка, родственник парижскому Гаврошу, и он же, хоть и повзрослевший, но не угомонившийся даже к старости. Было бы ошибочным думать, что любой батяр это обязательно дитя улицы. Многие батяры происходили из весьма уважаемых в городе семейств, но большинство это дети львовских окраин: Клепарова, Лычакова, Замарстынова, Погулянки. Уже сами эти названия вряд ли предполагают излишнюю респектабельность их обитателей.

О человеке, в котором во многом проглядывали черты настоящего батяры и пойдёт речь.

Любко, так во Львове звучит в уменьшительном варианте имя Любомир, появился в нашей студенческой группе на втором курсе, на практических занятиях по анатомии, вскоре после начала семестра.

Плотно скроенный, выше среднего роста, немного старше большинства из нас, не красавец, но что-то такое в нём было, что сразу привлекло взгляды наших сокурсниц. Он всего лишь на прошлой неделе демобилизовался из армии, а до войны будто-бы окончил первый курс. Одевался он, в отличие от других фронтовиков, а их на курсе в те первые послевоенные годы было много, в гражданский шегольской костюм. Фронтовики, как правило, донашивали свою армейскую форму, а некоторые шеголяли на занятиях ещё и в погонах. Грудь нашего новичка не украшала ни одна орденская планка, что для бывшего фронтовика тоже казалось непривычным.

Однокомнатную квартиру со всеми удобствами он нанял недалеко от института в престижном районе. Житьё в общежитии было ему не по вкусу. Выслушивать правоучения, возвращаясь после двенадцати, было выше его сил. Любоко был заядлым картёжником. Играл он во все известные карточные игры, начиная с бриджа и преферанса и кончая подкидным дураком. В картах ему везло, но если проигрывал и оставался должником, то с невероятной настойчивостью искал того, кому оказался должен пусть даже самую мизерную сумму, ибо карточный долг – это долг чести. Как-то, он рассказал, что во время оккупации обыграл по крупному пана Закржевского – консула Франции во Львове. Консул был, правда, не совсем настоящий: во-первых всего лишь почётный, а во-вторых, представлял он во Львове правительство Виши, так что выигрыш у него можно было даже считать своеобразным актом возмездия коллаборационисту.

А вообще детали его биографии всплывали как бы походя, на уровне слухов. Часто, направляясь утром в институт, мы встречали Любомира, едущим на мотоцикле в противоположном направлении. Он объяснял это тем, что львовские пивные обладают очень странным свойством: по вечерам их слишком мало, чтобы вместить всех жаждущих, а по утрам их оказывается так много, что очень трудно отыскать, в какой из них вчера оставил в залог свои дорогие часы.

Речь Любомира представляла собой удивительное сочетание львовского говора с вкраплениями латыни, употребляемой в самом неожиданном контексте. У буфета в студенческой столовой, где он иногда бывал, он как-то произнёс:

«*Alca jakta est*», что в переводе означает: жребий брошен, дальше последовало – «два винегрета и компот». О своём пребывании на фронте он не распространялся. Подробности его фронтовой биографии всплывали случайно. Однажды за кружкой пива он всё же открыл источник своего финансового благополучия, которое по студенческим понятиям, представлялось просто невероятным. На фронте он командовал противотанковым орудием. Недалеко от Бресслау увидел, как несколько пехотинцев, вооружившись ломом, безуспешно пытаются вскрыть сейф в полуразрушенном банке. Он доходчиво объяснил им, что штурмовать любой объект без артиллерийской подготовки – дело практически без-

надёжное; развернул своё орудие и единственным выстрелом добился успеха. Когда пыль улеглась, первыми у сейфа оказались его артиллеристы. Его доля добычи и даёт ему пока возможность беззаботно наслаждаться знаменитым львовским пивом.

У Любомира многие нередко перехватывали скромные суммы до стипендии, справедливо полагая, что получают кредит непосредственно от «Deutsche Bank». Впрочем, кое-кто забывал эти кредиты возвращать, а Любко не то стеснялся напоминать, не то тоже забывал о них. Какой-то особый, ненавязчивый юмор и постоянная готовность прийти на помощь товарищу располагали к нему многих.

При несколько неожиданных обстоятельствах стали известными другие детали его пребывания на фронте. Началось всё со скандала. Любко к тому времени поменял свой мотоцикл марки БМВ на более мощный, почти новый и очень уж престижный американский Харлей. Как это ему удалось – неизвестно. На Харлеях ездила тогда во Львове только милиция. Опробовать своё приобретение Любко решил в поездке в Винники – пригород Львова. В тамошней пивной возникла драка, в которую, заступившись за кого-то незаслуженно обиженного, втянутым оказался и он.

К несчастью, его удар пришёлся по подвернувшейся какой-то номенклатурной челюсти. Суд был к нему весьма снисходителен. Наказание было условным и, после небольшого перерыва он вновь появился в группе. Как стало известно, мягкость приговора объяснялась тем, что Любко, оказался кавалером трёх орденов Славы, что приравнивалось к званию Героя Советского Союза. Видимо, на фронте его противотанковое орудие удачно управлялось не только с банковскими сейфами.

Суд, возможно, учёл и его изысканную вежливость: к судье он обращался – «Пани доктор», к прокурору – «Пан магистер», совершенно произвольно наградив их этими академическими званиями... Во Львове вежливость всегда ценилась. Занятия он посещал по выбору. Увидеть Любомира на лекции по марксизму – ленинизму было равносильно тому, что увидеть Аль Капоне поющим в церковном хоре. Из его многочисленных проделок можно упомянуть и такую: один из наших профессоров, человек совершенно бесталанный и не обременённый избыточной порядочностью, разослал наложным платежом многим преподавателям и студентам, изданную им в виде монографии свою докторскую диссертацию. Любко выкупил присланную ему книгу с названием «Рак полового члена» и отослал её автору с надписью: «В науку каждый въезжает как может, кто на чём». К счастью, профессора вскоре освободили от заведования кафедрой.

Взаимоотношения Любомира с прекрасным полом были далеки от первозданной чистоты и невинности. У него были довольно обширные знакомства среди львовских проституток, хотя он уверял, что их профессиональными услугами не пользуется, поскольку «не привык тратить деньги на то, что ему обычно достаётся даром». Каждая из

них интересует его скорее как типаж, чем предмет пожелания, а некоторые из них великолепные психологи. Во Львове дамы подобного сорта фланировали обычно неподалёку от угла улиц Первомайской и Октябрьской. Здесь, пожалуй, следует отвлечься и сказать о том, что за переименованием улиц во Львове не смог бы уследить самый совершенный компьютер. Все эти улицы Принца Рудольфа, Сапегги, Легионов, Радзивиля – то становились улицами Сталина или Клары Цеткин, то Гитлера или почему-то Павлика Морозова. В частности, улица, бывшая при Советской власти «Октябрьской», до того при Польше именовалась «Листопадовой», что переводится как «Ноябрьская». Таким образом, она со сменой режимов помолодела на целый месяц, вот только проститутки на её углу, как свидетельствовал Любомир, заметно постарели. У него были знакомства и в среде отпетых львовских баяров. Некоторые из них были его одноклассниками. Как-то он сам мимоходом заметил, что его старые друзья иногда умели находить вещи до того, как их кто-то потеряет. Он заявлял, что испытывает к представителям этих кругов чисто академический интерес и когда – то напишет о них книгу. Они этого достойны. Было заметно, что он пользовался авторитетом и в этой среде и мог позволить себе по отношению к её представителям довольно рискованные выходки. Однажды, встретив на улице какого-то молодого человека, по виду и говору явно принадлежавшего не к самому изысканному обществу, Любомир предложил своим спутникам с ним познакомиться, сопроводив это следующей характеристикой: «Познакомьтесь, это Манько Клепуц, брат Ромки Клепуца, того... самого неумного по Львову, этот ещё глупее». Такие выходки ему почему-то сходили с рук.

Как-то по институту пополнился невероятный слух: Любомир женился. Близкие друзья Любомира утверждали, что в то несчастливое утро он, проснувшись со страшной головной болью, заметил совершенно невероятный порядок в квартире и свою давнишнюю знакомую Мирцу, маникюршу, в домашнем халатике. На вопрос, что она здесь делает, последовало заверение, что со вчерашнего дня она его законная жена, в чём он может убедиться, заглянув в свой паспорт. После этого Любо дал себе клятву в будущем никогда не смешивать водку с другими, родственными ей жидкостями.

Впрочем, существовала и другая версия, согласно которой Любомир женился из чисто джентельменских побуждений, поскольку Мирце показалось, будто она ждёт ребёнка, что впоследствии почему-то не подтвердилось.

Брак с Мирославой, так звучало её полное имя, счастливым назвать было трудно. Изменял ей Любомир без зазрения совести. Опять – таки, если верить непроверенным слухам, в его семейной жизни случился казус. После очередного загула ему показалось, что он заболел банальной гонорреей. Он то думал, что это сугубо холостяцкая болезнь и штамп в паспорте даёт к ней стойкий иммунитет. К своему ужасу, он

заподозрил, что заразил им и свою супругу. Выход из шекотливого положения был им найден. Вернувшись с занятий в институте, он долго присматривался к Мирце и наконец сообщил ей, что цвет её лица ему не нравится и было бы желательно ему, уже без пяти минут врачу, её послушать. После длительного прослушивания её сердца фонендоскопом, он, глубоко вздохнув, заявил, что, похоже, у неё не всё в порядке в сердечной мышце и незамедлительно необходимы уколы. Проведённый им курс лечения пенициллином, тогда весьма дефицитным, оказался эффективным для обоих.

Впрочем, возможно, эта история – миф, один из тех, которыми во множестве молва окружала Любомира.

Вскоре этот брак распался. Мирцю и её многочисленную родню он поддерживал материально многие годы. Больше он так и не женился, уверяя, что любая Джульета, после свадьбы превращается в леди Макбет, а если этого не случается, то как-то неловко хорошую женщину оставлять вдовой. Медовым ему показался тот месяц, который наступил уже после развода, так как Мирослава усиленно изгоняла из его квартиры не только пыль, но и тишину. А вообще он не терпел откровенного хамства по отношению к дамам. Из-за этого и пострадал. Один из студентов, которого всегда подозревали в тесных связях с серолатым зданием на улице Дзержинского, как-то очень грязно высказался об одной девице, сообщив прилюдно пикантные подробности свидания с ней. Любомир отреагировал мгновенно. Фингал под глазом у пострадавшего был долго замечен. Вскоре, на одной из лекций, за несколько недель до госэкзаменов, чуть приоткрылась дверь в аудиторию и девушка из деканата попросила передать записку Любомиру. Он поднялся и вышел в коридор. Там его уже ждали.

Появился он во Львове спустя несколько лет, уже после 1956 года. Как-то при встрече, сказал, что после госэкзаменов, которые у него оказались отсроченными на несколько лет по причине пребывания в Коми АССР в качестве французского шпиона (вероятно сказались его давнишнее знакомство с французским консулом), обязательно отыщет того нашего сокурсника, которому поставил фингал под глазом; поставит под вторым и надеется, что наказание на сей раз вновь будет условным, так как его ордена Славы ему на днях вернули.

Спустя ещё десяток лет, при очередной встрече, он сожалел, что так и не осуществил своего намерения, так как был занят защитой кандидатской, а потом и докторской.

И здесь, опять-таки на уровне слухов, появилась новая легенда.

Докторскую он защищал в Харькове. Свой доклад начал излагать на украинском языке, естественно, с заметным львовским акцентом. Председатель учёного совета прервав, предложил ему перейти на «принятый в СССР язык межнационального общения». Любомир мгновенно переключился... на английский. Вопросов не последовало.

СВОБОДА

Самый первый глоток нам свободы Господь подарил
В день, когда рассказал про запретные древа плоды.
Здесь – начало отличья человека от рыб и горилл
Стали люди – как Боги, и жизни сказали мы: «Да!»

Ну а змей – только повод, змей – это только предлог,
Рано ль, поздно ль, Адам или Ева – не важно кто первый.
Всё равно бы свершилось, так отчего ж заподло?
Сомневаться и мучиться – лишь изводить себе нервы.

Были холод и зной, были голод, усталость, болезни,
Но мы сеяли хлеб, зачинали красивых детей,
И варили металл, и слагали прекрасные песни
И свободны мы были в величии, как и в беде.

А последний «мессия» – уж так ли он злобен, хитёр? –
Запихал нас в Эдем и одно только древо подрезал,
Но земля перестала рожать и свернулся простор,
Почему-то в мартенах перестало вариться железо.

Всё вернётся на круги своя и опять в Вифлеем
Собираться поспело волхвам – благо всех не добили.
Чем Эдем не проклятье, это тот же египетский плен
Без одной лишь садовой культуры, что мы полюбили.

ДИССИДЕНТ

*В Лефортово – тюрьме КГБ надзиратели,
войдя в камеру, вызывая заключённых на
допрос, спрашивали: «Кто здесь на «И»,
имея ввиду Иванова и т. д.*

И смерть не властна пресечь твой путь.
Святошам награда – рай.
Но о тебе он промолвит: «Пусть
Сам себе выбирает».
От пышных гурий, винных рек
и утех – станет тошнить.
«Я начал, – буркнешь, – уйду в побег,
не нужен Эдем, прошу извинить».
Спросишь Христа: «И ты – диссидент,
ведь общая наша вина,

что в мире, как прежде, идёт война»
И Ты не ответишь: «Нет».
Черви в чреве, душе, бороде,
но ангел в кирзе придёт,
откроет крышку и воззовёт:
«Эй, кто там на букву «Дэ!».

БУДДИСТСКАЯ ЛЕГЕНДА

1.
Купец тибетский в Индии бывает
По всяческим делам торговым.
Перед отъездом мать к нему взывает
Всё с той же просьбой: «Упакован

Твой товар, в упряжке кони,
Удачным будет пусть твой путь
И пусть кошель твой наполняют звоном
И серебро, и золото, и пусть

Тебя минуют всякие напасти!
Лишь об одном прошу: из той страны,
Из Индии, мне привези не сласти,
Но безделушку, что рождает сны.

Какой-нибудь пустяк: иль талисман,
Иль статуэтку Гаутамы-Будды.
Обидно, что теперь сама
Уж никогда я в Индии не буду, –

Стара я стала, не под силу
Дороги дальние... Пора!» Они расстались.
Вернулся сын, и что же? – Он забыл...
Но снова в путь, бегут за далью дали.

Вновь Индия: Бодхгайя, Бенарес...
Опять домой, но просьба вновь забыта.
Как проигравшийся повеса
Бредёт он хмурый и разбитый,

Вдруг вспомнив матери слова...
Деревня уж близка, но тут в пыли
Он видит: мёртвая собачья голова –
Зловоние вокруг разлито.

И отвращение преодолел,
Купец подходит к черепу, потом
Зуб выдирает он из зева
И далее идёт. А вот и отчий дом!

Старушка-мать встречает у дверей.
Тряпицу развернул купец и зуб вручает:
«Вот зуб Ананды, – говорит он ей,
– Ученика... души не чаял

В Ананде Будда...» – Старушонка рада:
Зажгла светильники, зовёт гостей,
Кладёт поклоны дни и ночи и из сада
Приносит свежие цветы... Всё шире круг людей,

Идущих поклониться зубу...
И вот, наградой за страданья
Кому он дорог стал и люб,
От зуба стало.. исходить сиянье!!!

2.
Но знаю я, что жизнь дана не зря,
И с каждым шагом, обращённым ввысь,
Из мрака немоты встаёт заря.
Раз дети мы Бго, то встань и погрудись.

И не гляди назад, жене подобно Лотта.
– Придёт твой час: лови его, лови,
Коль вслед за Ним благословил
Ты эту жизнь с паденьями и взлётом...

1987-2005.

(из цикла «Я вспоминаю»)

БАБУШКА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ

Прошло много лет, когда после ареста моего отца мы с мамой и бабушкой жили в бараке на Тихвинской улице. Мне всегда казалось, что писать о детстве легко и читать всем интересно.

Ведь воспоминания о детстве смешны и наивны, но писать о нём соблазнительно. Сперва о бабушке. Она была удивительным, ни на кого не похожим человеком. Считала, что плохих людей на земле нет. Кроме большевиков. Два её старших сына погибли в застенках Лубянки.

Бабушка не стремилась искоренить зло. Она старалась его понять и оправдать. Поэтому никогда в нашем доме не было злых и мстительных людей. Смутно помню, как жилось в бараке. Разве что осенний жёлтый тополь, что рос неподалёку. Листья его срывались на ветру и укладывались под окна на увядшие бабушкины астры. В нашей комнате обстановка была скромной: обеденный стол, две железные кровати и шифоньер. Ещё три табуретки. У одной из них крысы подгрызли передние ножки, но она не падала. На неё сажали меня и я мягко съезжала под стол.

У бабушки весь негатив был сосредоточен на крысах и большевиках. Она говорила, что в мирное время ни тех, ни других не было. А мирное время кончилось в семнадцатом году.

Каждое утро, пока мама вытаскивала меня из-под стола, бабушка погружалась в хозяйственные мысли, главная была — где достать мясо. И ещё такое, которое можно было приготовить без мясорубки. Во время нашего переезда в барак её украли вместе с гарднеровским сервизом, серебряными ложками и прочим семейным добром. Бабушка вспоминала только о мясорубке.

По её рассказам, мясорубка обладала фантастическими достоинствами: мясо она не молола, а рубила. Жили мы трудно в тридцатые годы. Но так жили все. Раздела на бедных и богатых не было. Почти в каждой семье утро начиналось с проблем: дадут ли аванс в кассе взаимопомощи.

Если нет, где, в таком случае, занять денег на еду?

После скудного завтрака: чай с сахаринном и хлеб с кусочком маргарина — мама уходила искать работу. Затея была безнадёжной, ведь отец считался врагом народа. Однажды бабушка взяла меня с собой на рынок. В рядах, где торговали старыми вещами, я увидела маму. В руке она держала папину нарядный галстук. В будничной одежде папу я никогда не видела, в свой наркомат он уходил рано и возвращался поздно, когда я спала. Я видела его только по выходным, в парадном костюме и этом галстуке.

В благополучных семьях дети развиваются гармонично, в трудных – скачками. Увидев маму, продающую галстук, я мгновенно повзрослела.

И ещё хочется рассказать о бабушкиных гаданиях. Гадать она не умела, карты знала плохо, задачу предсказать чью-либо судьбу перед собой не ставила. Карты были для неё средством воспитания наших женщин. «Большевистским» картам она не верила, гадала по колоде, купленной на ярмарке в 1910 году. От многократного употребления края карт были лохматыми, картинки стёрлись. На картах чернильным карандашом было написано: дама трёф, десятка пик и т.д. Предсказывать судьбу было не сложно: Лев Толстой писал, что все судьбы похожи друг на друга. Особенно это касалось наших женщин: родились в бедности, рано выходили замуж, мужья – пьяницы, если встречали другого человека, тот тоже был не подарок.

Своим неквалифицированным гаданием бабушка учила верить в себя, прощать и надеяться.

Странно, что услышанные в раннем детстве бабушкины советы я не забыла. Часто советовала подружкам, как отучать мужиков от пьянства, как уберечься, чтобы не «понести», как отвадить мужнину любовницу и так далее.

Своей доброй мудростью бабушка завоевывала авторитет у всех. С ней дружил сам Абраша Рубинчик, известный предприниматель. На Минаевском рынке Абраша торговал крадеными мехами. Периодически его ловили и сажали в тюрьму. Но он всегда быстро освобождался и снова продолжал свой промысел. Спустя много лет, в пятидесятых, мы с бабушкой ездили на рынок купить мне мех на шубу. Мы купили у Абраши две чернобулки и мешок крысиных шкур. Абраша нас уверял, что это шеншиля. Шубу сшили в подпольной мастерской. Она получилась очень красивой, но через два месяца развалилась.

Мне пора подводить итог жизни: окончила, родила, уехала... А ещё надо подсчитать, чего не сделала. Это тоже очень важно. Не сделала главного: ни разу не сказала бабушке, что люблю её. Сейчас уже поздно, но всё равно говорю: «Бабушка, я люблю тебя»

ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ

Тогда в ресторане я пережила свою первую и единственную любовь. Впрочем, все мои предыдущие любви тоже казались первыми и единственными...

В молодости я считала, что единственной любовью должен быть муж. Человек, от которого у тебя дети. Думаю, по молодости так считают все женщины. Правильно делают. Обманывать себя необходимо. В действительности, семья – это тяжёлая и неблагодарная работа. Но семья всегда с тобой, а любовь приходит и уходит. Вечная любовь бы-

вает только в мексиканских сериалах. После того, как пережила свою последнюю любовь, поняла это окончательно.

Я работала в ресторане при гостинице. Мыла посуду и накрывала столы. Смена длилась двадцать четыре часа, но к пяти утра работа обычно заканчивалась. До приезда машины из прачечной можно было поспать пару часов. На это время я в закутке под лестницей готовила себе постель. Выпросила в гостинице подушку, одеялом служила оконная штора. Устраивалась нормально. Вот только крысы! В ресторане их было много. Но у меня с крысами были доверительные отношения. В их присутствии я не боялась спать...

Бояться следовало Колю Прохорова и себя. Коля был из нового, быстро выросшего поколения, аккуратненький, с лёгкой походкой, тридцатилетний мальчик-официант.

Как-то зайдя в закуток, я обнаружила Колю в своей постели. Он спал. Я разозлилась, растолкала его, сказала, чтобы убирался немедленно. Он проснулся, дружелюбно посмотрел и медленно произнёс: «Ну и дура же ты! Я засну ещё на пять минут, а ты определись, хочешь, чтобы я ушёл?» Я повторила, чтобы он убирался, а иначе...

— А что иначе?

Тут я задумалась. Действительно, что иначе, если подниму крик, буду выглядеть полнейшей душой. Все будут обсуждать не Колин поступок, а мой.. Увидев прищуренные Колины глаза, льняные есенинские волосы — и какая-то притягательная сила толкнула меня на постель.

Он быстро уснул. На подушке мне места не было, я лежала на его разметавшихся волосах. Во сне он улыбался. В тридцать лет люди ещё во сне улыбаются. Я была переполнена счастьем.

Боялась, что кто-нибудь войдёт. Страх обострял чувства.

Под окном зарычала машина. Значит, время подъёма. Собрать бельё я не успею. А Коля спал.

Во сне он был другим: агрессия, бахвальство куда-то ушли, остался доверчивый ребёнок. Во сне он мирно посапывал.

Стало ясно: официанты уже вышли на смену, и незаметно нам уйти не удастся. Я разбудила Колю и мы прошли сквозь строй недоумевающих, сочувствующих, осуждающих глаз.

До пятидесяти лет я была весёлой, разбитной бабёнкой: дни рождения у друзей сменялись пикниками или турпоходами. Но вот, в одночасье, всё схлынуло: подросла дочь, состарился муж, почему-то стало не хватать денег. Днём работала в министерстве, ночами мыла посуду в ресторане. Жила трудно, не понимала, что так у всех — либо первая половина жизни удаётся, либо — вторая. Об этом думала редко, и без того забот хватало. То, что было с Колей, не повторилось. Но ещё долго, несколько лет, во сне я слышала его голос, чувствовала его запах — молодого здорового тела, пропахшего пивом и сигаретами и бог знает

чем ещё.

Ночь не повторилась, но на смену пришла любовь, безотчётная и удивительная. Все предыдущие мои любви не состоялись потому, что мы хотели друг от друга большего, чем могли дать. Часто, в середине любви или даже в её начале наступали времена ссор, ревности, взаимных обид. С Колей этого не было.

Утро на работе начиналось с чаепития. Буфетчица Надюша, Коля и я пили чай. Было весело, взгляды официантской братии не смущали. Коля смотрел на меня требовательно, вопрошающе.

Так десятиклассники смотрят на девочек. Не понимал, почему тогда можно было, а сейчас – нельзя. Не понимал он, что разница в двадцать лет – огромный срок. В таком сроке прочно утверждаются оценки: это хорошо, это плохо, это можно, этого нельзя. Но в этом была моя ошибка. В любви нет и не может быть истины, правил, устоев.

Летом, в канун моего дня рождения, позвонил Коля. Сказал, что завтрашний рабочий день отменяется и он уговорил ребят поехать в Абрамцево: во-первых, сейчас цветение лип, во-вторых, там у его родителей пустует дом. От любви глупеют. Я хорошо знаю, что мне категорически не рекомендуется что-либо с собой делать, но я помчалась на Калининский, подкрасила волосы, купила синее, почти вечернее платье, наутро надела его со спортивными туфлями. Выглядела ужасно. Это судьба предупреждала: не езжай. Я не послушалась.

Ночь не спала, под окном кто-то стучал. Утром поняла – стучало моё сердце.

На место сбора, на Ярославский вокзал приехала первой. Шёл дождь. Платье промокло и прилипло к ногам. Подошло время отъезда, а Коли всё нет. Надюша жалела меня. Он просил немного подождать его. Наконец-то появился с молоденькой официанткой. Тоненькой, в спортивном костюме – она смотрелась отлично. Коля стоял не поднимая головы. Усадил девушку в автобус, сел рядом, обнял за плечи. Все всё поняли. Смотрели на меня, кто сочувственно, кто насмешливо. При выходе к Коле подошла Надюша:

– Подойди, поздоровайся с Маргаритой.

– Обойдётся.

Первой мыслью было немедленно идти домой к дочке, к мужу, но кто-то посадил в автобус, освободили лучшее место, возле водителя. Я поняла, потому что я старше всех. Приговор мне был вынесен. Стало страшно. Закрыла глаза, пыталась хоть на минуту вернуть ощущение вчерашнего дня. Не получалось. В мокром платье было холодно. Водитель включил музыку, под тихую мелодию закрыла глаза, куда-то поплыла, наверно, уснула. Затем просыпалась с одной мыслью: как справиться, как пережить оскорбление, как выплыть из этой мутни?

Вышла из музея, присела на мокрую скамью, всё надеялась, что Коля подойдёт. Из музея он вышел последним всё с той же девочкой. Взглянул на меня, как бы не узнал, и прошёл. Я гадала – обернётся или нет, – не обернулся.

К ДРУГУ

Переменилось всё в стране.
Да, времена своеобразны.
А были новости, как праздник.
И горечь их живёт во мне.
Я помню частый разговор
о ежедневных переменах
на кухнях, кафедрах и сценах,
перераставший в долгий спор.
С тобою рядом тет-а-тет,
себя считая вольнодумным,
предпочитал собрания шумным
наш собственный авторитет.
Внимательно вникали в джаз
и с наслаждением пили водку.
И перед нашим взором чётко
менялся к лучшему пейзаж.
Теперь в сердцах переворот:
в словах, поступках и привычках.
И ложь, тайком, как вор с отмычкой
лазейку в души стережёт.
И вновь разгул людских страстей.
Вражда намного крепче дружбы.
«Свобода», «Мир» – как это чуждо
под гулом всяких новос гей.
Ты, если жив, не забывай
друзей бывшего и гитару.
У Чистопрудного бульвара –
подругу «Аннушку» – трамвай.
Не забывай случайных встреч
и глаз, дрожащих от восторга,
в очередях, что у Мосторга –
прошу их в памяти сберечь.
Пока нас миновал недуг,
быть может, в баре на Таганке
по предсказанию цыганки,
с тобою встретимся, мой друг.
Подуют свежие ветра,
когда на кафедры и сцены
придёт из будущего смена –
сегодняшняя детвора.

ОН И ОНА

Велосипед, как конь упрямый,
предпочитает лишь её.
Он ценит душу этой дамы
и ум, и тонкое чутьё.

Она без мужа, одинока,
и он над нею властелин.
Стройна, талантлива и дока –
от них в восторге весь Берлин.

Она не жалуется S-Bahna
и игнорирует U-Bahn.
Велосипед – её нирвана.
Велосипед – её тиран.

Её любовь к велосипеду
ей заменяет дом, семью,
влюблённого в неё соседа,
уютную в саду скамью.

Она для друга личный слесарь,
заменит вмиг его деталь.
Чтоб избежать тоску и стрессы,
жмёт день и ночь его педаль.

И затянувшись полной грудью
душистым дымом сигарет,
она в воскресный день и в будни
гоняет свой велосипед.

НО НЕ О ТОМ СЕГОДНЯ РЕЧЬ

Непредсказуемым был срок
неповторимой атмосферы,
когда ещё остаток веры
её, увы, не уберёг.
Когда привычный отчий кров
спасали слёзы и улыбки,
и в звуках ойстраховой скрипки
топили чью-то нелюбовь.
На веру больше моды нет –
ведь верой правит суеверье.
К волненью сердца недоверье,

вина – в движении планет.
Плетётся сгорбленная тень,
что прежде бегала за мною.
Теперь же, став, как я, больною,
с трудом вползает на ступень.
Мир воспрিয়া стал иным,
вдали от блеска словоблудья
от городского многолюдья –
мир обеднел – что делать с ним?
И лишь во сне избыток встреч
с героями событий праздных
напомнят мне о встречах разных...
Но не о том сегодня речь.

СЛОВА И ЧУВСТВА

«Чем меньше техники, тщеславия, искусства,
тем сердцу легче в выраженьи чувства»

А.Дольский

Утопая в словах, чувства стёрлись словами.
Что осталось от них – память в градине слёз.
И тоскует душа, наблюдая за ними,
Словно мчит в поездах, в перестуке колёс.

Сколько вычурных слов, чтобы скрыть свои мысли.
С ними часто лукавят, клеветуют и льстят.
Чувства только отыщешь в истрёпанных письмах,
что на дне сундуков мёртвым кладом лежат.

Предпочтенье словам – и становится грустно.
И бушует волною людская молва.
Одинокие души – уснувшие чувства –
Подтвердили мне снова, как опасны слова.

ПОМИНАЛЬНЫЕ СВЕЧИ

Траурный вечер. Помянуть пора
жертвы и пепел, Освенцим и печи.
В душах скорбящих всю ночь до утра
будут сгорать поминальные свечи.

Целый народ нам нельзя не любить,
стыдно за тех, кто его ненавидит.
Многовековая памяти нить
вьётся в крови, униженьях, обидах.

Нет, не забудут потомки года
Бабьего Яра, Варшавского гетто,
Время, в котором мы жили тогда,
не затеряется в памяти где-то.

Смена придёт, подрастёт детвора,
в память трагедии будет отмечен
горьким гореньем всю ночь до утра
траурный вечер, горящие свечи.

СУМЕРКИ

Не рассвет, не закат, и не ночь, и не день –
Нечто среднее меж полюсами.
Всё пространство заполнила странная тень,
Она схожа с иными мирами.

Тьма наступит ещё, но пока её нет.
И вполне различимы предметы.
Я боюсь упустить интересный сюжет,
Если скроются их силуэты.

Наблюдаю за обликом близких мне лиц.
Что застыли в альбомах, на фото.
Дамы стали в глазах моих Моннами Лиз, –
Кисти мастера эта работа.

Все события дня, даже сущий пустяк,
Нервы, душу и взгляд мой морочат.
Но минута прошла и таинственный мрак
Оказался владением ночи.

Скоро я опрокинусь в объятия сна, –
Слава Богу, до этого дожил.
Ни малейшего шороха, лишь тишина
И дыхание чьё-то тревожит.

Всё пространство заполнила странная тень
Меж реальностью и подсознанием.
И возможно, что сумерки – только ступень,
Чтоб подняться над существованием.

ВИКТОР ГОРДЕЕВ

К 60-летию разгрома фашизма

**БАШКИРИЯ.
РАЗЪЕЗД.
ЧИШМЫ.**

Мне снятся-бредятся
Война, дымы,
Башкиры, беженцы,
Разъезд Чишмы.
Прошла катком война
По головам,
Пришлось хлебнуть сполна
Ту пору нам.
Морозы жгучие,
Сухарь ржаной,
Уроки учим мы
Страны степной,
Уроки школьные,
Войны урок
И треугольного
Письма листок.
Я, взрослых радуя,
Горжусь, пацан, —
Читаю раненым
Стихи отца.
Стихи горячие,
С передовой,
Лежат незрячие
Передо мной,
Войной клеймённые
Фронтовики,
Совсем зелёные
И старики.
Стихи о верности —
Надежды свет,
Кому-то верится,
Кому-то нет.
Лежат и слушают
Меня, мальчика,
Войной иссушены
У них сердца...

Мне снится-бредится
В разгар зимы:
Война.
Мы беженцы.
Разъезд Чишмы.

ВИТЬКА ХОХОЛ

– Витька Хохол вернулся!
– Витька приехал!
– Вить, ты хоть нас узнаешь? Ведь одиннадцать лет прошло.
– Из нашего коридора всех узнаю, остальных – не очень. Вот ты – Мишка. Угадал? А почему не военный? Мать писала, ты в Суворовском училище. Попёрли, наверное?..

– Да нет, закончил в Туле. Комиссовали по зрению.
– Ну, а ты – Шурик. Работаете? Где, если не секрет?
– Шоферу на базе.
– Во, молоток! Значит коллеги! А ты, Валентин?
– Да что о нас! Ты Витя лучше о себе расскажи.

– А чего рассказывать? Погиб бы я в лагере, если бы не Анна Андреевна, врачиха тамошняя. Спасибо ей, жив остался и специальность имею, а остальным гадам никогда не прощу. За каждый прожитый там день – не прощу! А о лагере? Лучше о нём не вспоминать.

Больше в тот день он нам ничего не сказал. Только пил. Рассказал гораздо позже, когда немного отошёл от пережитого.

Виктора Хохлова в нашем доме любили все, особенно взрослые, за доброту, за весёлый нрав, за справедливость, а уж если кому-то что-то обещал – всегда выполнит. Это был светловолосый, вихрастый с яркосиними глазами парень, почти на голову выше своих сверстников. Он дружил с ребятами старше себя по возрасту, в их компании был равным. Когда началась война Витьке было всего тринадцать лет, а мы, мелюзга, тогда ещё в школу не ходили. Ежегодно приятели Витьки уходили на войну – навсегда: одни похоронки. Витька всё время рвался на фронт отомстить за друзей. Не брали по возрасту. Осенью сорок четвёртого, прибавив себе два года и уговорив военкома, который понимая его, предлагал на выбор любое военное училище, подал на фронт в резервную Верховного Главнокомандующего армию, которая на последних этапах войны почти всегда находилась во втором эшелоне. Состав с воинской частью, в которой находился Витька, поздно ночью застрял на запасных путях Белорусского вокзала в Москве. Ещё в Смоленске Витька загадал: если эшелон остановится в Москве – он непременно попытается попасть домой, чтобы увидеть мать.

– Товарищ капитан! Рядовой Хохлов! Разрешите обратиться!
– Что тебе?
– Можно я домой сбегать? С матерью год не виделся. Она живёт не-

далеко, на Маяковке, в десяти минутах ходу от вокзала. Мне бы туда и обратно. Я мигом.

– Не могу! Сам знаешь: приказ! Никаких увольнений, никаких отлучек. Ты же понимаешь, что мне за это будет, если узнают, что я тебя отпустил. По головке не погладят. А если нарвёшься на патруль? Это всё-таки столица – Москва! Здесь с этим строго. Нет, не проси.

– Товарищ капитан! Говорят, не меньше двух часов стоять будем, я в этом районе все переулки и проходные дворы знаю. Мне бы мать повидать и сразу назад. Когда ещё увидимся...

– Ну, хорошо, уговорил. Возьми у старшины хлеб, тушёнку и сахар. Скажи, я разрешил. У тебя есть ровно час и ни минуты больше. Всё понял? Если поладёшься, я тебя не отпускал. Всё. Свободен! И ни пуха! Давай.

...Когда через час Витька вернулся на Белорусский вокзал, его эшелона уже не было. Через десять дней, в Чите, Витька всё же догнал свою часть. Во Владивостоке его вызвали в Особый отдел, а оттуда прямой путь – в трибунал. Осудили на десять лет лагерей строгого режима.

Амнистия 53-го года его не коснулась. В нашем доме из всех молодых ребят, ушедших на фронт, вернулся лишь Витька, и то только через десять после войны.

После лагеря Витькина жизнь пошла наперекосяк. Он много пил и из-за этого часто менял места работы, хотя и был хорошим автомехаником. Погиб Виктор, а до-иному и не скажешь, в 68-м. Он бросился защищать людей, протестовавших против ввода Советских войск в Чехословакию.

Витя не мог спокойно пройти мимо несправедливости – сотрудники органов растаскивали и били людей, заталкивая их в машины. Витька попал в милицию, где его избивали долго и жестоко, затем ночью выбросили на улицу. Его подобрали и доставили в больницу, где он, не приходя в сознание, скончался.

Хорошили Витьку всем домом. На кладбище никто не произнёс ни слова, все молча плакали.

Я вспомнил его слова: «Тех, кто ввязал мне срок – ненавижу. За что дали десятку строгих лагерей? Я ведь догнал роту ещё на марше. Всю

♦ ♦ ♦

ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД – 5

«У меня зазвонил телефон!...»
Кто позвонил?! – «Он!»
И позвонил... Откуда!
Не правда ли – Это чудо!

Два месяца жить без звонков...
Бежать, услышав: «Межгород...»
И вот объявился... Я горы
Могла бы одна... И платков
Зарёванных, сотни стирала...
Ждала! И надеялась... Ждала...
Но провод был нем и был чужд...
Кто может понять «наших нужд»...

И быть человечно душевным?
«Привет... Как живёшь? Очень скверно?
Ну, ладно – приеду нескоро,
Но, слушай, – поменьше укоров!
Приеду и будет... в порядке»...

Отбой... Снова игры и прятки...

ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД – 9.

–Еда!.. Еда!.. Еда!.. Еда!..
Моя домашняя беда...
Моё служенье. Послушанье.
Моя любовь. Моё страданье...

С утра до полночи – еда.
А рядом плещется вода.
Шумит программа. Жар плиты.
А за спиной, конечно, Ты!

Всё для Тебя: еда, питьё,
моё ворчанье и нытьё,
мои котлеты и рагу
Тебе – и другу, и – врагу.

Когда Ты был холостяком,
меня заманивал в свой дом.
Какою вкусною едой
Ты обольщал –
«голодный» мой!

Ты был шеф-повар и эксперт.
Но оказался – интроверт!
Теперь в Тебя, а не в меня
летят салаты, шницеля...

И кофе (чёрный – с молоком!).
Лимончик в чае. А потом,
под вечер – рюмка коньяка...
С утра до вечера. Пока
не кончатся программы все,
и всходы даст дневной посев
Полночи – храп.
Полночи – стон!
И это всё зовётся – ОН?!

ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД – 12.

– Уходи, не прощаясь! Меня не целуя...
Уходи. И обратно в окно – не гляди...
Я прошу об одном: помнишь, прежде балуя,
ты мне розы бросал: брось ещё – позади...
Приходи без звонка, без письма, без страховки.
Просто так, как когда-то ко мне приходил.
Буду ждать... без аркана и даже ... верёвки!
Если хочешь, конечно... Так, как мне говорил...
Приходи–уйди... Мы с тобой – в середине.
Только там наша жизнь. Без конца, без начал.
В нашей комнате плотно повисли гардины
и всегда наготове коньяк и свеча...

* * *

БЕЛЛЕ АХМАДУЛИНОЙ

«Мне снился сон: Я мучаюсь и мчусь!»
В Берлин, на штрассе, что у Дома Бога..
Красивый храм... Быть может синагога...
Или иной? Прибуду – разберусь...

Там ждут друзья. Поэты. Домочадцы.
Без них мне не легко, но такова судьба.
Нам так необходимо повстречаться.
Услышать. Прочитать. Не просто похвальба.

А душ, обменный ток. В стихах – душа Поэта.
В глаза глядеть – и углядеть в зрачок.
Как исчезает слово в солнечной карете
и волшебством становится обыкновенный толк!

И, погружаясь в поэзии нирвану,
я говорю, как много лет назад:
«Вы так прекрасны несказанно»
Ах, Пушкин! Ты засеял чудный сад!

TRINKSPRUCH

Вот и этот этап потихоньку пришёл –
Праздник встречи случайной окончен:
Может, было тогда нам и впрямь хорошо,
Если честно, то, в общем, не очень.

Непонятен оерлинский рождественский ор;
Вместо снега – размытые лужи.
Видно, в чувствах случился у нас перебор,
Если честно – бывает и хуже.

Если принято в полночь в кругу подводить
Уходящего года итоги,
Так давай, перед тем, как за новое пить, –
Вспомним всё... и не будем так строги.

Всё равно от себя никуда не уйти,
Даже если разнятся дороги.
Пусть со многими нам уже не по пути –
А теперь надо выпить немного!

Под Новый год забросив все дела –
Не помогло. Всё также ломит тело.
А время бесприделит оготело.
И ночь печаль мою не унесла.

SALDO

Л.Б.

Никто не знает, как устроить лучше.
События последних лет впритык.
Начиная тот банальный случай,
Когда не перепутать – а тупик

Упоминание, самое простое,
Подскакивает, память тербя,
Как вехи непреложны. И не стоит
Вконец переименовывать себя.

Тянуть натужно старую резину
О датах, неудачах и т.п.
Самокопание заведёт в трясину,
Где задохнутся мысли о себе

Заглядывать вперёд – себе морока;
Обрыдло и смешно вдвойне. Уже
Давно не модно, чтобы стильно кто-то
Позировал в душевном неглиже.

Наедине с самим собой негоже
В чужой перекликаться стороне.
Ну а склонять без толку слово Божье
Лишь move top в нас принявшей стране.

Пора б верней с привычками расстаться,
Под утро скромный подведя баланс;
И самому себе, увы, признаться,
Что лучшее написано до нас.

Так без бравад, нисколько не скучая,
Совсем не утруждая никого,
Уютно в кресло сесть, и с чашкой чая
Бумаге вверить перевод Гюго.

ТЫ ЗАЧЕМ ВКЛЮЧИЛ МАГНИТОФОН?

Жорка сел по глупости, впрочем, назовите хоть одного, кто сел бы по уму. Жил один зубной техник не по средствам. Заметили, стукнули куда следует, взяли под наблюдение, сделали обыск и нашли у специалиста две золотые коронки, Жоркой закапанные. Следовательно пообещал арестованному дураку, что отпустит его тотчас и даже самолично отвезёт его домой на служебной машине, если тот честно во всём признается и укажет на сообщников. Хотелось к жене, к наваристому борщу, к детишкам, к домашнему уюту – это, как говорится, «хоть кому доведись», и потому потной от усердия рукой техник написал фамилии всех врачей, заказывающих ему работу, пациентов, приносивших ему ювелирные изделия на переплавку и ещё адрес обнищавшего ветерана, продавшего ему орден Ленина. Старика тут же повязали за незаконную валютную операцию, потому что шестнадцать граммов золота – это не фунт изюма, а самого техника, убедившись, что дело тянет на червонец строгого режима, следовательно действительно отвёз на служебной машине в переполненную зэками камеру следственного изолятора. Вложил зубной техник и Жорку. Девять месяцев следователь уговаривал доктора признаться в совершенных им преступлениях и угощал даже сигаретами. Некурящий Жорка принимал презит, неумело курил не в затяжку, но не мог вспомнить не только фамилию пациента, но даже сам факт заказа золотых коронок. Когда же на очной ставке Жорка заявил, что видит спятившего зубного техника впервые в жизни, дело было передано в народный суд, и только на основании показаний умышленного, дали ему год для острстки.

Месяц проболтался доктор в кассационной камере, месяц в неселенькой, ввиду частой смены контингента, этапной, где и получил удар в живот заточкой, разнимая дерущихся зэков. Ранение, к счастью, оказалось непроникающим, но для удобства перевязок Жорку оставили в больничке, где было всего шесть коек, а по утрам выдавался кусочек сливочного масла. Жорке повезло: в камере оказался человек, почти что знакомый. Вор-рецидивист Юра Морозов был сыном заведующего кафедры патанатомии. Маме его, Музе Петронне, Жорка когда-то сдавал экзамен; два брата Морозова защитили кандидатские диссертации, а скукоженный, как липипут, Юра был ворюгой убеждённым, несправным и несуетным. Рассказывал, как воронал в войну хлебные карточки, талантливо изображал ужас и отчаяние людей, им обворованных, и ни тени раскаяния, а тем более, сострадания, не просматривалось на его обезьяньем лице. Находился Юра в больнице по поводу трофической язвы голени, как манны небесной ждал ампутации, на-

деясь на амнистию по инвалидности. Уверял сокамерников, что стал седым в двенадцать лет. Вот как это произошло. На территории старой психбольницы в войну располагался строго охраняемый интендантский склад. Взрослые ждали, когда часовой уходил, подсаживали маленького Юру в форточку, а тот, улучшив момент, выбрасывал вора хромовые сапоги. Через какое-то время обмундирование вывезли, вместо него завезли жмых (отжимки от семечек после извлечения подсолнечного масла). А на окна поставили решётки.

Когда начался голод, воры решили этим жмыхом торговать. Решётку взломали, посадили Юру в форточку, он сделал несколько шагов по плитам жмыха, уложенным штабелем до потолка, и провалился ... на крыс. Крысы выжрали целый участок штабеля, и в образовавшуюся пустоту провалился Юра. В темноте наступал он на мерзких, заживших на калорийном жмыхе грызунов, они пищали, кусали его; он вскакивал, пытаясь вылезти наверх, кричал дурным голосом. Пока часовой бегал за разводящим, пока открывали заржавевший замок, прошло много времени. Когда освободили воришку, глазам изумлённых охранников предстал белый, как снег, подросток.

Оживлял камеру Леопольд, рано полысевший красавец, похожий на актёра Олега Видова. Эдик Кудашкин стал Леопольдом сразу же после выхода в свет кинофильма «Неуловимые мстители», в котором фигурировал начальник одесской контрразведки Леопольд Кудасов. После этого Эдика прозвали Леопольдом. Кличка прижилась. Леопольд имел четыре судимости, но назвать его рецидивистом было бы несправедливо, ибо он ни разу не продублировал ни одной статьи уголовного кодекса. Будучи студентом, он был осуждён на три года условно за драку в саду Горького. Вскоре Леопольд с приятелем был окружён превосходящими силами противника. Леопольд, имеющий первый разряд по боксу, легко прочистил себе путь, уронив двух нападающих, но приятель его ударил одного из нападающих ножом. Леопольд сел за решётку. Освободился, пришёл к даме сердца и застал её в объятьях майора. Бить конкурента не стал, но выкинул в окно его брюки. Тот пошёл к своему другу, тоже майору милиции, заявил, что в кармане брюк было триста рублей, а теперь их нет, и Леопольд сел в третий раз. Освободившись, снова пошёл к даме сердца но уже к другой и был сфотографирован на ней по просьбе знакомого фотографа, подбиравшего людей для порнофильма. И Леопольд сел в четвёртый раз. И вот теперь Леопольд веселил камеру, придумывая сценки с участием в них ненавистных тюремному драматургу сотрудников правоохранительных органов.

«Вот представь, – донимал он Жорку, – что я твой отец, а ты моя дочь и хочешь выйти замуж за мента Колю, ну, давай!»

– Папа, – тоненьким голоском, входя в роль, сказал доктор, – я выхожу замуж.

– За кого, доченька? – ласково говорил любящий отец.
– За Колю.
– Но он же мент?! – недоуменно восклицал родитель.
– Ну и что? Он – хороший.
– Хорошими они не бывают, – со страстной убеждёностью кричал отец. – Не бывают, – гремел он на всю камеру, постукивая пальцем по неразумному челу дочери. – А если ты этого не желаешь понять, знай! Чем я тебя породил, тем и убью!

Улыбался, глядя на представление, крупного телосложения русский мужик с мусульманской фамилией Бейбутов, хотя было ему не до смеха. Лет двадцать тому назад на лесоповале упавшей сосной сломало ему позвоночник, и с тех пор обитался парализованный на инвалидной зоне в Боровом. Передвигался на инвалидной коляске, шил тапочки для эзков и дышал неровно к раздатчице в столовой. К ней же питал нежные чувства соперник – тоже инвалид в коляске.

Пытаясь усть побольней Бейбутова, распустил подлец слух о том, что персональную чашку последнего использует в качестве ночного горшка. Соперники сошлись на колясках, как рыцари на турнире, вооружившись сапожными ножами. Бейбутов оказался проворней. Точным ударом в сердце поразил он обидчика и был этапирован для судебного разбирательства в Пермь. И теперь гнил себе потихоньку в ожидании суда, распространяя невыносимый запах старых пролежней и мочи, непрерывно вытекающей через трубочку из специально сделанной дырочки внизу живота.

Приходил казённый адвокат, спрашивал, имеются ли претензии у подсудимого и не надо ли чего?

«Дали бы мне яду, ну сколько можно?» – попросил Бейбутов И, хотя он не договорил фразу, все с ним согласились в душе, подумав: «И, правда, сколько можно?»

Рядом с клозетом располагался заключённый Пиндюрин. Высокий, худой, плоскогрудый бронхитник был мерзок. Он ежеминутно отхаркивался, сплёвывал на бумажку, а затем рассматривал мокроту. Как народный целитель, а именно таковым себя Пиндюрин считал, он был внимателен к процессу своей болезни. Он переболел всеми болезнями, имеющими неблагозвучные названия.

Вскоре в камере появился новый обитатель, по прозвищу Гладиатор. Так прозвали его, не сговариваясь, Жорка с Леопольдом, и не ошиблись, потому что, когда эзк разделся, они увидели на его широкой спине искусно выполненную татуировку: раненный в бедро Спартак рвёт удилами губы вздыбленному коню. И тут случилось невероятное. Никто не осмелился задать новенькому обычные вопросы: какая статья, какая ходка, какой срок и каких авторитетов он знает на зоне. Было совершенно очевидно, что он сам и есть кем-то справедливо выбранный ав-

торитет. И хотя он не сказал ни слова, всем было ясно, что вопросы мог задавать только он.

Неясно было только одно? чем мог болеть этот буйвол? Вот уже несколько дней Гладиатор находился в камере, получал какие-то таблетки, пил их демонстративно охотно и не произнёс при этом ни единого слова. Целыми днями он, как барс в клетке, ходил по узкому проходу между кроватями, и когда поворачивался к окружающим спиной, конь Спартака шевелил передними ногами на бугристой от мышц лопатке, словно пытаясь удержать равновесие. Впрочем, он слушал все разговоры и на его лице читалось одобрение или осуждение тех или иных тем. Эдакий молчаливый третейский судья. Погружённый в какие-то свои мысли, он всё же проявил однажды тщательно скрываемый интерес. Узнав, что Леопольд недавно откинулся с кунгурской зоны, спросил про хозяина и назвал несколько известных на зоне фамилий, обнаруживая при этом хорошее знание предмета. И хотя в его голосе, необыкновенно низком и не лишённом приятности, не было и тени любопытства, Жорка и Леопольд вычислили: Гладиатору нужно было во что бы то ни стало попасть на Кунгур. Для этого он и закосил под больного, чтобы пропустить этап в Ныроб и выписаться из больницы к тому времени, когда будет формироваться этап на Кунгур. И ещё поняли, что такой здоровяк без посторонней помощи попасть бы в больницу не смог, значит, докторов подогревали с воли. Словом, был Гладиатор птицей крупной и оттого ещё более интересной. Должен ли он был по заданию братвы убрать кого-то или, наоборот, отмазать кента, попавшего в неприятную историю на зоне — неизвестно, понятно было лишь то, что выполнение данного поручения было для Гладиатора делом жизненно важным. Поэтому он и не вступал ни в какие разговоры, не участвовал в постоянных разборках, поэтому он терпеливо выслушивал избыточно гнусную болтовню Пиндюрина, поэтому и глотал ненужные ему таблетки, ибо главной целью для него было в тот момент — как можно дольше просидеть в больнице.

Такого жаркого лета не было на Урале сто лет. Больница располагалась в новом корпусе, и поэтому в ней было намного жарче, чем в старом кирпичном здании — бетонные стены прогревались за день, а ночью отдавали тепло. Жара стояла такая, что кусочек выдаваемого на завтрак масла плавился на хлебе, как на сковородке. Зэки истекали потом, и ночь не приносила облегчения. Индивидуальное раздражение, вызванное жарой, начинало аккумулироваться во взрывоопасный сгусток энергии, и достаточно было искры, чтобы энергию эту освободить.

Пиндюрин продолжал спокойно следить за своими исследованиями. Для успешного изгнания паразитов, надо прежде всего проследить за гастрономическими пристрастиями последних.

И Пиндюрин решил посвятить в эти тайны обитателей камеры.

Общеизвестно, например, что ни один уважающий себя глист не станет употреблять тошнотворную смесь из селёдки с молоком. Вот этой привередливостью цепень себя и губит. Больному нужно съесть селёдки, запить молоком и сесть на ведро с водой, чтобы облегчить мучимому жаждой паразиту побег из неволи. «Представляете? – брызгая слюной, вещал паразитолог-самоучка. – Он уже вылез настолько, – он показал насколько, широко расставив указательный и большой палец, – и я, мудак, включил магнитофон. Глист испугался и убежал обратно». Гладиатор вдруг резко поднялся и пошёл к Пиндюрину. Почуввав неладное, целитель встал с постели.

– Ты зачем включил магнитофон? – сгорая рот любопытства, спросил Гладиатор.

– Та хйба ж я знав – со страху перешёл на украинский Пиндюрин.

– Нет, ты скажи, пёс шелудивый, ты зачем включил магнитофон? – повторил вопрос авторитет, и голос его потерял басовую приятность.

Повёл слегка широким плечом, махнул презрительно в «торец», и Пиндюрина как украли. А когда тот попробовал заползти под кровать, Гладиатор вырвал его за ногу в проход, одной рукой легко, как кутёнка, вздёрунул до уровня груди, но ударить второй раз не успел. Леопольд, Жорка и Морозов повисли на нём, пытаясь удержать сокамерника от убийства, заплели ноги, упали клубком сначала на кровать, потому что ребром койки у Гладиатора подсеклись колени, а потом скатились на пол. Но Гладиатор, в полной мере оправдывая свою кличку, без какого-то бы то ни было напряжения со всеми четырьмя, стряхнул их без всякого усилия и медленно, невыносимо медленно снова пошёл к Пиндюрину. Опять повисли, опять споткнулись о кровать и опять упали. Гладиатор вдруг перестал вырываться. Он бился крутым затылком о бетонный пол, бился страшно, как будто хотел убиться, и без конца повторял: «Ты зачем включил магнитофон?» У него была истерика. А Пиндюрин с разбитой мордой, заливая кровью пол, стучал безостановочно в дверь и не кричал, не вопил, не блеял, а голосил пронзительно по-бабьи, суча ногами и притоптывая ими в нетерпении, как будто бы он хотел в туалет по-маленькому. Открыли камеру, выпустили Пиндюрина, потом увели Гладиатора.

И только за ним закрылась дверь, как в «чешую» над тюремной решёткой звонко, как будто швырнули в окно горсть гороха, застучали крупные капли первого за всё жаркое лето дождя.

Ливень был такой силы, что отдельные стрелы воды каким-то непостижимым образом проникали на решётку и стекали вниз холодными слезами по стене камеры, обгоняя друг друга, как на бегах. Тихо, как ангел, проникла в помещение прохлада, и эски, измученные банной духотой камеры, впервые за последнюю неделю смогли уснуть, не обливаясь липким потом.

Только большой парализованный русский мужик с мусульманской фамилией Бейбутов лежал с открытыми глазами. Несчастье располагает к любомудрию. Он думал о том, как сложно порой закручена жизнь и что кажущиеся мелочи тоже оказывают влияние на судьбу. Вот не включи этот хорёк магнитофон, не разбили бы ему сегодня табло, а можно и с другой стороны на дело посмотреть: вот начнись дождик на пару часиков раньше, остуди он хоть немного камеру, и не вскипела бы кровь, и не сорвался бы внешне невозмутимый с тормозов, и попал бы на зону на Кунгур, как и хотел, а теперь не попадёт. А пойдёт этапом в Ныроб. Умный каторжанин раньше Жорки с Леопольдом вычислил Гладжатора и теперь сочувствовал ему. Потом Бейбутов, чтобы убить время, стал заниматься своим любимым занятием: разлагать на составляющие интересные его слова.

«Злобные, злые дни — это, наверное, про дни моего существования сказано», — решил он.

Потом он прикрыл тяжёлые веки, забылся в лёгкой дреме, и ему пригрезилось, что он на своих ногах и без трубочки в животе, здоровый и сильный, как Гладжатор, почему-то с обнажённым торсом и бронзовыми плечами заходит в столовую на зоне в Боровом. Садится будто бы он за стол, и его симпатяга, та раздатчица, из-за которой он, собственно, и убил обидчика, с небывалым ранее почтением подаёт ему баланду в новенькой блестящей алюминиевой чашке, из которой ещё никто не ел и не успел нацарапать на ней своё имя, и он смешит её рассказом о дураке, не вовремя включившем магнитофон, и она смеётся и поглядывает на окружающих её инвалидов с презрением, так, как это и заведено в российских богадельнях, а на него она смотрит ласково, и от её тёплого взгляда становится на душе светло и приятно.

МИХАИЛ ЛЕВИН

СУББОТНИЙ РОМАНС

Чай остыл, и взгляды – мимо,
Что ни слово – то не в масть.
И любовь бывает мнимой,
И обманывает страсть.

Ведьма или ангел белый,
Но позволь тебя обнять,
Что со мною хочешь – делай,
Только, чур, не прогонять.

Задыхаюсь от прощаний,
И ещё одно – невмочь.
Не дари мне обещаний,
Подари мне эту ночь.

Ночь субботнюю, больную,
Из тревог и темноты,
Обещаю: не усну я,
Если рядом будешь ты.

Если это наважденье
И сегодня я умру –
Завтра будет воскресенье,
Чтоб воскреснуть поутру.

Пережить бы эту зиму.
Пережить бы эту страсть.
И слова, и взгляды – мимо,
Что не встреча – то не в масть.

* * *

Ну, не погоду же корить,
Когда рукам пора разжаться?
Ведь знали: нам не воспарить,
Мы можем только погружаться.

Моя вина, твоя вина...
Не начинай об этом снова,
Когда нахлынула волна –
Волна потопа мирового.

И загудели провода,
И тени пали нам на лица,
И приготовлена вода
На землю грешную пролиться.

Едва качнулся – и исчез
Случайный луч за облаками.
И осень зарево с небес
Стирает мокрыми руками.

Уже не надо целовать –
Лишь на последний миг прижаться...
Настало время отплывать.
Настало время погружаться.

РАЗГОВОР

Должно быть, стареем, дружище?
Должно быть, стареем.
И прожитый день
Не таким уже кажется лишним.
Уже не боишься
Прилюдно назваться евреем
И даже поверить,
Что ты охраняем Всевышним.

До первого залпа?
Допустим. Но дело не в залпах –
Хватало причин и без них.
Чтоб кончились сроки.
Поедем на запад?
Ну, что же. Поедем на запад.
Раз больше уже
Нас не держит ничто на востоке.

И здесь не родные,
И там мы не будем своими.
Иначе бы жить,
Только мы не умеем иначе.
Блеснёт ли удача? –
Но как нам узнать её имя?
И в этой ли жизни
Дано нам добиться удачи?

Вот смоем с себя
Пыль дорожную, ложь и наветы...
А где это будет?
Без разницы, в Волге ли, в Шпрее...
Ведь нам всё слышнее
Дыханье холодное Леты.
Стареем, дружище?
Стареем, дружище, стареем.

ПУБЛИЦИСТИКА ЭССЕИСТИКА

Карл Абрагам

Леонид Бердичевский

Марлен Глинкин

Яна Кутин, Андре Бройдо

Генриетта Ляховицкая

Марк Шейнбаум

Алесь Эротич

ВОЙНА

8 марта фрау Герики собрала сотрудников фирмы на день рождения. Обещала сюрприз.

За огромным столом собрались 20 человек. Колоритные огромные как медведицы и лоси.

Männer.

Всегда оптимистичны, остроумны, тактичны, доброжелательны.

Не признают неудач, поражений и разочарований. В хороших костюмах...

Маленькие на их фоне, но такие же сильные духом Frauen, затянувшие свои стройные мускулистые тела в свитеры и джинсы.

Блондинные, бирюзовоглазые, засоляренные до коричневости.

Не знающие усталости ни днём, ни ночью.

Умеющие заболтать, завлечь, завладеть сердцем.

И карманом любого потенциального клиента фирмы.

Мартин и Эльза Герики. Шеф и его мать.

Имеют все вышеперечисленные качества...

Солнечный день. Солнечное настроение, слова и дела.

Все радостно приветствуют друг друга традиционным «Wie gehts?»

Каждый хочет подержать в руках сюрпризы – Пауля, Фрица и Томаса, шестимесячных, белокурых, голубоглазых, которых принесли бывшие сотрудницы фирмы Андреа, Марион и Хайке.

Все напросились на праздник и праздник получили.

Групповое фото на пурпурном фоне.

Я отошёл перезарядить фотоаппарат, оглянулся... и не узнал никого.

Они оказались в военной форме времён второй Мировой войны. Естественно, немецкой...

Мартин Герики – Оберштурмбанфюрер Вермахта.

Торби Раков – Ефрейтор зондеркоманды.

Пауль Розенкранц – Капитан SS.

Харальд Зингер – Оберлейтенант Люфтваффе.

Норберт Бок – Офицер гестапо.

Даниела Вагнер и Андреа Штольц – надсмотрщицы KZ.

Я смотрел им в глаза. Эти глаза говорили мне:

– Ты не знаешь нас? Мы – твоё подсознание. Мы – коды сна твоих родителей!..

Война догнала меня...

Марлен Дитрих утверждала, что о войне имеет право говорить только тот, кто был там.

Я родился через десять лет после войны.

Я не связан исторической памятью с ней.

Но я войну пережил.

Генетически. Эмоционально. Ментально. Вербально.

Я – художник. Любой яркий эпизод о войне тут же возникает перед глазами. Попадает в подсознание, застревает в памяти и остаётся там навсегда. Встречается со сценами, запечатлёнными родителями...

Мать видит огромную колонну пленных красноармейцев, которых ведут по Минску в первые дни войны. Один из них отошёл в сторону. Конвоир выстрелил ему в голову.

Отец в лагере военнопленных в Дроздах, под Минском. Десятки тысяч людей спят на голой земле. Оправляются тут же. Убивают ночью друг друга из-за куска хлеба.

Человек в очках с подстриженными усиками в окружении высших офицеров SS.

Идёт по лагерю. Разговаривает с пленными. Встречается взглядом с отцом.

Гиммлер. Я вижу этот взгляд...

Каратели блокируют партизанские зоны Витебщины. По приказу Гиммлера, детей из этих районов, которые немцы считали арийскими, везут на воспитание в Германию.

Озеро Палик. Люди сутками сидят по горло в воде, в трясине, облепленные пиявками.

Женщины и дети сидели в землянках, невидимых в лесу. Каратели шли цепью, протыкая землю шомполами. Тёте Наде шомпол вспорол голову. Она не кричала.

У тёти Марии убили пятерых детей. Она сумела выбраться из уже горевшего дома.

Окружённые в небольшом лесу, тысячи партизан с семьями пошли на прорыв.

Оружия не хватало. Женщины шли с топорами и вилами, как и их предки – кривичи против тевтонов. И вскоре сами каратели оказались в роли преследуемых. Пойманного в лесу врага разрывали, привязывая к деревьям. По древнему обычаю.

Или и других немцев. На Рождество те угощали всю деревню пуншем.

Помогали заготавливать дрова. Солдаты брали на колени маленьких белорусских детей.

Грозили белые головы. Угощали шоколадом. Некоторые немцы «попали». Спасали евреев из гетто. Предотвратили взрыв театра оперы и балета в Минске...

И моём детстве фашисты играли ту же роль, что и киборги, терминаторы и прочие «чужаки» в детстве моего сына.

Это было абсолютное зло и одновременно некая высшая цивилизация.

Атрибутики, символы, законы этой цивилизации вызывали ужас,

трепет, но одновременно и восхищение, и преклонение...

Тот кодовый стереотип Германии и немца, живущий в подсознании, мне не преодолеть

Преодолеет сын. Он хорошо владеет языком, легко и просто общается с немцами.

Как, впрочем, и с французами, американцами, голландцами...

ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ

Слово-то какое – «блошинный рынок»

В Берлине их много.

Это места, где вещи приобретают свою истинную цену. Всё стоит столько, сколько за неё дают.

Художник мечтал получить 2000 долларов, а здесь его картину купили за 20.

Джинсы продаются по цене буханки хлеба. Помню, за свои первые джинсы «Lee» в начале 70-х я отдал месячную зарплату. На неё можно было купить тысячу буханок хлеба. Тысячу.

Джинсы тогда достать было трудно. Нетрудно было найти работу, завести друзей, жениться.

Сегодня здесь это невозможно. Те, первые джинсы из кровельного железа, я носил три года.

Сдувал с них пылинки. Сегодня я ношу три месяца. Максимум. Поношу и выброшу...

Вещи от Версаче, Кардена, Лагерфельда там, в Союзе, для нас были пределом мечтаний, здесь, на блошином рынке они стоят 3-4 доллара. От силы – 5.

Всё зависит от настроения узбека Фези или турка Юсуфа. Они понятия не имеют о каких-то там «версачах и карденах». Им главное – сбыть побольше товара оптом.

Не дороже стоят и кожаные куртки, дублёнки и прочее, что десятилетиями имело там большую ценность. Здесь это – барахло. Барахло!

Человеческие взаимоотношения также переоцениваются. Умер человек, и его вещи, включая семейные архивы и фотоальбомы, уходят на блошинные рынки. И не только пожилых. Всё чаще встречаются и фотографии 40-50-летних. Человеческие отношения не купишь, также как подлинную любовь. Каждую субботу начинаю я с посещения рынка, расположенного у меня под окнами, на Moritz Platz, это граница чёрного и белого Кройцберга.

Дыбом стоит холод. Но завсегдатаям рынка всё нипочём. У дверей павильона одежды кучкуется толпа. Поджарые немки, марципановые матроны далеко за сорок. Вот польки, стайка перелётных ведьмочек, принадлежащих к женщинам такого класса, которым не надо краситься и крутиться у зеркала. Цыганки с нервно дрожащими сигаретками

по рту. Негритянские шоколадки «джонни» с дежурными улыбками. Застывшие, как статуи острова Пасхи, женщины в хетджабах и пальто до земли. Здесь есть и русские с напряжёнными лицами и озабоченным взглядом. Только и слышишь: «Halleuschen!». Все друг друга знают.

Ровно в девять распахивается дверь. Толпа встрепенулась, хлынула вперегонки, по ходу готова огромные пластиковые мешки. Бывший ташкентский плейбой, бонвиван и полиглот, весельчак Федя приветствует народ:

– Langsam! Langsam! Ach du Arschloch! Dokond letis, kurwa!

Что-то там ещё по-турецки, по-польски и непечатное по-русски.

Федя живёт в Германии давно. Не сложился как коммерсант, но на хлеб зарабатывает.

Битые русачки сразу берут его в оборот:

– Федя, сегодня ты хорошо выглядишь! Помолодел.

У Феде глаза в пол-лица от счастья. Он подмигивает.

Иду дальше. Разворачивают свои прилавки югославы, арабы, цыгане, поляки, турки, албанцы.

Уже разносится голосистое:

– Хойте билич, морген тое! (искажённый немецкий)

– Вифиль ду гебен?

Продают Германию. Оптом и в розницу.

Но меня интересует только Ибрагим. У него я закупаю немецкую историю. Недорого.

Не то, что на Kunstmarkt «17 jun». Там сидят немцы и всему знают настоящую цену.

Ищу глазами тугой объём знакомой фигуры. А вот и он. У Ибрагима бирюзовая улыбка и гляцевая проплешина. На собеседника он опрокидывает потоки доброй скороговорки, из оливковых глаз струятся лесёлые искорки. Он не очень грамотен, но интуитивно отличает подлинник от фальши. Ему нет никакого дела до немецкой истории. У него другая задача.

Он пробился сюда в начале 90-х, заплатив кому надо и теперь для него главное получить социал и киндергельд за своих семсрых детей. Его товар – книги и старые семейные фотографии.

Старые фотоальбомы одинаковы: вот главный герой с родителями, братьями и сёстрами, в гимназии или Realschule, солдат Вермахта, свадьба (если дожил), дети, внуки, пляжные корзины Ростока и горы Австрии. Ещё обязательно юбилей и вечеринки.

Меня интересует только одно – фотографии людей в форме. Нацистской.

Далеко не во всех альбомах они есть. Но есть.

Когда впервые увидел их, понял – это не те фашисты. Куда делись те карикатурные фрицы из советских фильмов. Те, в фильмах – другие. Эти словно подменили. Такие же парни, что окружают меня на улице,

на работе, повсюду. Симпатичные, добродушные, улыбчивые. Только жили они тогда. Теперь много их у меня... Энгфриды, Иоганны, Вилли, Питеры, Томасы 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944. Сорок пятого нет ни одной фотографии. Большинство со своими

Штефани, Марион, Даниэлами, Ренатами, Вальтраудами. Такими же веселыми и добродушными...

Но сегодня Ибрагим приготовил мне сюрприз. Книгу о лётчиках.

Я взял в руки солидный фолиант, изданный в Штутгарте после войны. Открыл. И провалился куда-то... Из сжатого времени вырвался самолёт. Пронёсся над городами и полями, морями и реками, бескрайними просторами Украины и Пруссии, горящим Мышском, разрушенными кирхами Дрездена. Из-за трассеров не видно звёзд на ночном небе. Занесло на взлётную полосу аэродрома среди стоящих между своими «Юнкерсами» парней. Один из них выделен кружком. Голова моя наподпиалась крупными дековой тайны.

Слышу, как закадровый перевод, монотонное бормотание, ровное, без особой динамики, экспрессивности и прочих эмоциональных крайностей: «Сейчас, как и шесть столетий назад, мы вовлечены в битву с Востоком...»

Какую битву? Войны же, на самом деле, нет, она существует только для меня в голове, в виде пляшущих электронов, способных принимать любое изображение. Но почему тархит пулемёт?

Ибрагим тянет руку за оружейным мобильником в карман и успокаивает его электронные нервы...

Ночь в зареве пожаров. Великан. Стоит по пояс в снегу. В растёгнутом ватнике, с пулемётом в руке... Хаты... Горящие белорусские хаты, утопающие в снегу по самые крыши. Снег чёрный.

Лети... Бегущие по лесу дети, бег шапок, босиком...

«Немец был силён и долог,
Кренко скроен, ладно шит,
На своих стоял подковах.
Не спутишь, не побежи!...»

Не помню, кто это, кажется, Гвардовский.

По рынку несётся неступлённый голос муэдзина из динамика «А-а-аллах, а-а-акбар!» Время утреннего намаза.

Кто-то работает напрямую с подсознанием, посылает с мозг и глаза самую сущность, очищенную от оболочек, от всего наносного. От запутанной логики.

«Мой плечо забинтовано, я не могу двигать рукой, но это не мешает мне летать. Хуже того, ноги мои изрезаны до кости, я не могу ходить. Мои бортстрелок носят меня на руках к самолёту.

Раны сильно кровоточат, особенно в воздушном бою, и иногда после вылета мой механик вытирает кровь, которой забрызгана кабина. Стоит ужасная погода. Шесть вылетов до изнеможения утром, затем три после обеда. Сильный зенитный огонь. Почти после каждого вылета нам при-

ходится латать повреждённый самолёт. Но мы не должны знать себя. Я чувствую - это мой долг перед Германией - бросить на чашу весов весь свой личный опыт и усилия...»

Ганс Ульрих Рудель. Не состоял в нацистской партии. Пилот «Юнкерса-87», 2530 боевых вылетов. За 4 года войны. Ровные дуги белёсых бровей, просвечивающийся голубоватой кожей подбор. Лицо... Есть лица, в которых никто не живёт. Глаза, как прищелки немецкого скоростного пулемёта М-16, словно запорошены снегом. Сухая линия губ. Тот самый нордический тип...

Натужно завали турки, ухнули фугасы ударных. Мужской дуэт фальшкетом затянул что-то на арабском. А зия дохнула своей первобытной силой. В ответ поляки врубили «Будку суфлёра»...

А на этой фотографии он с невестой. Доброе, открытое лицо. Она была хорошей матерью и женой... Вот он уже в другой форме. 303 Luftsiege/ «Der Teufel der Ukraine»

Но почему-то фамилия другая - Хартманн. И невеста уже другая... А вот здесь уже 278 Luftsiege. Гитлер награждает железными крестами группу лётчиков-офицеров в своём «Wolfsschanz». Разные люди, но как похожи! Худощавые голубоглазые блондины. Бесстрашные лица. Лётчики всё возникают в хронологической последовательности...

Ныряю в собственную память и на ощупь пытаюсь отыскать аналогии. Кожедуб. Покрышкин...

Два значимые цифры побед. Нить бытия закручена в спираль. Память концентрируется в одной точке и, прорвавшись в глубины, воспроизводит давно забытые картины детства...

Запах клейких листочков разлился в воздухе. Цветущий майский сад. Голоса ангелов из гущи петлей...

Крутоскулые, бронзовеликие, голенастые мужики с крепкими, стройными костяками, высыпали во двор дядьки Лявона. С бодуна. Минут сигарки обветренными руками-лопатами. Люди, богатые простыми радостями. Кепки, патники и галфе на них выглядят так же живописно, как и паряды от Армани. Их сапоги вязнут в чёрной, остро пахнувшей земле, усыпанной розовым снегом. Потoki могучих русских слов попеременно с крестьянским юмором. Отчётливо помню их лица. Сегодня, держа в руках пачку фотографий, не устаю поражаться сходству физиологического типа немцев и белорусов. Особенно примечательным в этом отношении родственники моей жены.

Привезли диких чёрных змей, пустили их в бочку с водой, до смерти перепугав тётю Надю. Запомнилось слово Вугар.

Позднее узнал - это были парочанские партизаны. Я был мал тогда. Помню только клубы дыма и мат-перемат. Ушли, растворились в небытии их имена. Но осталось одно, что звучало чаще других - Сильницкий. Потом, через много лет, имя это всплыло вновь. Энциклопедия открыла мне его.

«Михаил Сильницкий, пулемётчик отряда «За Родину» 15 февраля

1944 года в бою у деревни Глыбочка уничтожил 19 карателей. Когда кончились патроны, он, изрешечённый пулями, ножом свалил троих»...

Путешествуя по Полотчине, я нашёл Глыбочку, кладбище на косогоре, затерянном среди витебских озёр. Сегодня там шумят высокие сосны. На витебщине немало немецких кладбищ, некоторые ещё со времён первой мировой. Все 19 остались там.

Я вижу каждого из них: рыжеволосые, краснолицые рыбаки Рюгена, смуглые, темноволосые баварцы, блёдые голубоглазые саксонцы. Они радовались, мечтали, строили свои дома, любили своих жён и детей, пели рождественские песни за праздничным столом, ездили на курорты Баварии и Австрии. И готовились к встрече.

Другие косили, пахали, ворошили вилами навоз. И тоже готовились к встрече...

Сознание кружится в заколдованном круге. Лимит добра. Лимит зла. Кто выдаёт лицензии?

– Война – лекарство от морщин. Кто это сказал? Не помню.

– Мне суд, я воздам. Это помню. Это сказал Он.

Что есть предопределение, главный экзамен жизни?

Каждый бой делил их на живых и мёртвых. Теперь все равны. Их уже нет. Они ушли. Те и другие. Их тени поют, – кто тише, кто – громче. Квиты или нет. Неважно. Их нет.

Каждый пронёс свой крест. Среди них не было ни хороших, ни плохих. У каждого была своя правота и справедливость...

Память упрямо поздравляет в тот майский сад. Запах курящегося ядлоуца примешивается к запаху коптящейся пальяндыцы. Я гоняюсь с сачком за бабочками. Сад уже свирепствует крапивой...

Великан в распахнутой телогрейке, одинокой скалой возвышающийся посреди всёёлого безобразия. Он единственный, кто хранил трезвое понимание своего потенциала и предназначения.

Тёмно-багровый румянец в полщеки, простодушно разляпистый нос, выветшие глаза, не хранящие эмоций. Голова его утопала в кроне деревьев.

Кто говорил, – он или ангел, живущий там? Голос этот был тих, но, находясь за горизонтом мироздания, он протирал барабанные перепонки до дыр. Берлин был уже взят, но зееловские высоты ещё сопротивлялись отчаянно. Пьяные эссовцы, закатав рукава, шли на пулемёт во весь рост.

– Сколько их там поглотило?

– А хіба ж я лічу? Можна сто, а можна дзвесці.

Задрав голову, он разглядывал скомканное кружево простыней на уставшем за тысячелетия небе, словно искал ответ.

– А чаго яны лезлі да нас? Хай бы сядзелі у сваіх хатах, лілі б лва і гарэлку.

Из автобиографических записей

«Мой искусствоВИДЕНИЕ»

«...И МУЧИТЕЛЬНОЙ ПЕСНЕЙ СУДИЛ И ПРОЩАЛ»

Когда московский театр «На Таганке» привёз в 1965 году в Ленинград спектакль «Десять дней, которые потрясли мир», какой-то молодой актёр бродил, напевая и наигрывая на гитаре, по вестибюлю Дома культуры «Первой пятилетки», куда я пыталась прорваться, не имея билета. У двери стоял другой молодой человек в форме революционного солдата со штыком, накалывая на него предъявленные счастливыми билетами. Он сказал мне: «Стой, жди!» и повёл глазами в сторону строгих билетёрш. Гитарист поглядывал на меня с некоторым сочувствием. Наконец, строгие тётки отвернулись, велев закрыть вход. Солдат протянул руку за моей спиной и, закрывая дверь, втолкнул меня ею в вестибюль. Гитарист довольно усмехнулся и извлек из гитары замысловатый аккорд, который можно было перевести с музыкального так: «Прорвалась-таки, настырная!»

Спустя время увидела я у кого-то портрет барда Владимира Высоцкого и удивилась, почему мне знакомо это лицо. Вдруг озарило – это же тот самый, с Таганки!

В собрании его произведений, изданном в 1993 году, прочла стихотворение, написанное в 1965-м к премьере того спектакля. Там всё достоверно: «...Зритель рвётся к нам упрямо сквозь строй штыков и патрулей... Желая отдохнуть душой, он непосредственно у входа услышит трезвый голос мой». Подтверждаю, в апреле 1965-го лично рвалась, и слышала его голос, и видела Высоцкого во всех его ролях в этом «Народном представлении с пантомимой, цирком буффонадой, и стрельбой». Он был там и матросом, и юнкером, и анархистом, и артистом, и часовым, и солдатом революции, и в «логове контрреволюции»... Тогда я как-то не заметила, что в перечне авторов стихов для песни к спектаклю тоже указан В. Высоцкий, правда, в самом конце, после Б. Брехта, А. Блока, Ф.Тютчева, Д. Самойлова и неизвестной мне И. Мальцевой.

В своём дневнике, в который я лишь изредка что-либо заносила, эту постановку отметила особо: «В апреле пролезла (спасибо добрым московским ребятам) в «1-ю Пятилетку» на гастроли театра на Таганке... Чрезвычайно вкусно».

...

Стихи записывали, вслушиваясь в магнитофонный треск. В 1968-м родилась великая «Охота на волков». Сослуживец, Натан Львович Готхарт – интеллигентнейший человек, знаток поэзии, на мой вопрос о Высоцком сказал, что не знает его творчества и не особенно интере-

суется им. «Как же, а «Охота на волков»?!» — с обидой на лёгкое высокомерие в его голосе воскликнула я. «Но это же Галич» — возразил он. «Нет, это Высоцкий, Высоцкий!» — негодовала я. Через пару дней Н. Л. сказал, что «снимает шляпу» перед таким талантом. Ох, не все были так объективны, особенно из тех, от кого зависела судьба поэта, и он писал: «Не прорвёшься, хоть ты тресни! Но узнал один ровесник: «Это тот, который песни... Пропустите, пусть идёт!»

Не была я с ним лично знакома, но всё равно стал он для меня, как и для людей по всей стране, своим, хорошо знакомым человеком. Он пел о нашей жизни так точно и так полно, что из сотен песен сложилась энциклопедия. Не знаю, удостоился ли ещё хоть один народ подобной песенно-поэтической чести. Вряд ли...

• • •

Снег в июне 1983-го внезапно выбелил Ваганьковское кладбище в Москве. Холодно, но люди, одетые по-летнему, не уходят и всё теснятся у ограды могилы с небольшой белой плитой, поставленной вертикально. На ней асимметричная надпись и четыре отверстия по углам:

ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ

1938-1980

В жестяных ведрах огромные букеты живых цветов тоже теснятся, но внутри ограды. Ромашки, гладиолусы... Засыпанные снегом, застывают, не увядая. На низком парапете в снежном углублении прикрытый куском хлеба стакан с водкой, рядом — румяное яблоко. Натюрморт — мёртвая природа. Тропа сюда от кладбищенских ворот по снегу широкая, следы сливаются. Шаги не слышны, снег их глушит, и люди молчат или совсем тихо переговариваются.

Я с сыном-подростком в Москве на несколько дней. Времени мало, а побывать надо бы много где. Только что на Крымском Валу были, там Всесоюзная выставка скульптуры. Портретов множество. Как-то личности, на табличках (на табличностях?) длинные надписи вроде: «Лауреат Ленинской премии, заслуженный деятель чего-то, почётный член...» и так далее. Хоть убей, не знаем такого, и другого, и десятого. И вдруг, смотрим, в проёме двери живой Высоцкий! — гриф гитарный сжал, словно горло перехватил. Против света силуэт, издали легко узнаваемый. Поближе видно — из мрамора он. Работа скульптора Рукавишникова. Прекрасный портрет! Никакой к нему таблички не надо. Да и что написать? — ведь не лауреат, не заслуженный, не почётный...

Здесь, у могилы, думалось: «Вот бы ту скульптуру сюда как памятник. А ещё лучше, чтобы чудо произошло, и он живым оказался, и запел бы свой «Памятник» с яростной концовкой: «Прохрипел я: «Похоже, живой!» Тогда никто ещё не знал, что будет-таки над ним памятник работы того самого Рукавишникова, но не та светлая скульптура, а какой

предвидел поэт ещё в 1973-м, когда пел, как ему ставят «крепко сбитый литой монумент»: «Я немел, в покрывало упрятан... Саван сдёрнули – как я обужен, – Нате смерти! – ...Неужели такой я вам нужен после смерти?!» Перехватывает горло от подступающих слёз...

Поэт-провидец всё предсказал верно. И посмертно спелёнут он, упрятан, и творчество его обужено, и поэт в нём официозные завистники да снобы как не признавали при жизни, так и после смерти не хотят признавать, толкуют, что так себе песенки пел, без признаков высокого искусства, на вкус толпы презренной... Стоп! Куда это я? – в двадцать первый век, в «двадцать лет спустя». А тогда, в прошлом, увидели мы на чистом снежном покрове ведущую от могилы поэта вглубь кладбища одинокую свежепротопанную тропку и пошли по ней. Она привела к другой могиле с живыми цветами. На тёмной стеле в овале небольшой барельеф, под ним надпись: СЕРГЕЙ ЕСЕНИН.

Тает летний внезапный снег. Утирает слёзы живая природа... «Мы не умрём мучительною жизнью – мы лучше верной смертью оживём». О ком это пел Владимир Высоцкий?

Всё, пора возвращаться в Питер. На обратном пути уже подступают тамошние заботы, но... яблоко, и живые цветы, и народная тропа на снегу... И никуда не деться, начинаешь складывать строки:

У МОГИЛЫ ПОЭТА

Он гитаре и нам перехватывал горло,
хрипом правды терзал неуёмно и гордо.
Он согласные в гласные превращал,
и рожденье героев-мужчин предвещал,
и нахлёстывал всласть полнебесных коней,
и в Париж залетал на свидание к Ней.
Он выхватывал шпагу из дымящихся ножен
и пронзал ею тех, кто был мерзок и ложен.
Нашу жизнь и беду он нутром ощущал
и мучительной песней судил и прощал.
Он в кино прорывал плоский серый экран,
столько раз умирал от невидимых ран...

И который уж год
мы с цветами стоим у ограды –
неутешный народ –
для поэта нет вышес награды.

1983. Ленинград

• • •

Прошло с тех пор двадцать лет. Боже мой, целых двадцать! Нынче Владимиру Высоцкому было бы шестьдесят пять, ведь он сказал о годе своего рождения: «Первый раз получил я свободу по указу от тридцать восьмого». Где роскошные юбилейные издания? Где достойные ис-

следования литературного наследия? Какие стихи вошли в школьные хрестоматии по русской литературе? Я живу теперь не в России, потому и задаю такие вопросы. Но если на них нет верных ответов, то пора крикнуть: «Это тот, который песни... Пропустите, пусть идёт!»

А впрочем, он сам оформил себе пропуск в литературную классику.

Январь 2003, Берлин

• • •

Итак, январе 2003 года Владимиру Высоцкому исполнилось бы 65 лет. В связи с юбилеем в двух крупных русскоязычных газетах Берлина появились статьи о нём. Признавая право любого иметь собственное мнение о поэте и его творчестве, я не могла понять, зачем понадобилось «ломать крылья» покойному поэту даже в юбилейных публикациях.

Послала протест в редакцию, но тщетно. Видимо, прижизненные ответы самого поэта, которые я в том протесте процитировала, до сих пор кажутся кое-кому слишком резкими.

Вот текст, посланный мною тогда.

• • •

Думаю, что многие помнят, как народ переписывал от руки в разномастные тетрадки или отстукивал на пишущих машинках в возможно большем количестве копий стихи Высоцкого. И бывшие фронтовики поколения наших отцов, и «высоцкое» – наше поколение, и мой сын, и его сверстники с напряжением вслушивались в звуки плохоньких магнитофонов, чтобы не пропустить ни одного слова «Найдя стократно вытертые ленты, мы хрип мой разбирали по слогам.» Вот это были многомиллионные тиражи! Таких не было ни у кого из членов Союза советских писателей. Не этот союз, не издатель, не профессиональный литературовед, а сам народ в составе всех наличных поколений взялся за дело сохранения бесценного творческого наследия. Спасибо народу!

Но вот нынешнее мнение газетчиков об этом народе-собирателе, издателе, хранителе: «Высоцкий стал... форменным идиолом народа, погрязшего в дремучем пьянстве и полностью раскультириванного... Магнитофонные записи Высоцкого стали идеальным сопровождением застолья (непременно с бутылками – по одной на брата)... Власти совершенно точно определили феномен Высоцкого как тот необходимый предохранительный клапан, через который удобно выпускать общественное недовольство» Высоцкий иначе считал: «Нас всегда заменяют другими, чтобы мы не мешали правую». Кроме того, клапан-то неуправляемый – власти в силах были запретить официальные издания и записи, но поди уследи за миллионами самиздатовцев. Поэтому не выпускал «клапан» недовольство, а пробуждал и озвучивал его в запоминающихся точных поэтических формулировках и самобытных, не повторяющихся, что поразительно, мелодиях.

Не внове было бы прочесть поэту, доживи он до наших дней, такие фразы: «. Этот человек имел всё – жену красавицу-француженку, работу в театре, кино и на эстраде, ездил во Францию, Америку и на

«зотические острова в океан ... А что показали прошедшие после его кончины почти четверть века? Увы, популярность его совсем не та».

Ещё тридцать лет назад отвечал на подобные писания поэт: «Вот я читаю: «Вышел ты из моды, сгинь, сатана, изыди, хриплый бес! Как глупо, что не месяцы, а годы тебя превозносили до небес!» Ещё письмо: «Вы умерли от водки!» Да, правда, умер, - но потом воскрес. «А каковы доходы ваши всё-таки? За песню трёшник – вы же просто Крез!» Поэт великодушен, потому и не сердился, а даже благодарил: «Спасибо, люди добрые, спасибо, что не жалели ночи и чернил».

Сообщая о том, что популярность Высоцкому принесли песни, пишущий статью походя замечает: «Говорят, их было свыше шестисот. Не знаю, мне известны несколько десятков, а остальные как-то не довелось услышать ...» Ну хотя бы для юбилейной статьи посчитали бы, тогда и сотни вместо десятков получаются. Однако, песни не считают на десятки, каждая единственная, одна! Даже одну создать, чтобы за душу брала, чтобы пели её, не пробовали? Сотни песен – только гению под силу!

А какая жизнь была у «идола» на самом деле? Что он должен был пережить, чтобы написать: «И, улыбаясь, мне ломали крылья, мой хрип порой похожим был на вой, и я немел от боли и бессилья...» Как непеносимо должно было быть Высоцкому, что не печатали его стихов:

«И мне давали добрые советы, чуть свысока похлопав по плечу, мои друзья – известные поэты: «Не стоит рифмовать «кричу-торчу». На мой взгляд, это было преступно, так как именно на литературных публикациях растёт, шлифуется поэт. Но, видимо, понимая мощь этого поэтического дарования и свою слабость в сравнении с ним, не допускали ещё большего его совершенствования. Он, вопреки всему, взвился в высоту на Пегасе, которого «взнуздать не каждому дано». Правда, плата за это немалая: «Поэты ходят пятками по лезвию ножа и режут в кровь спон босые души». Вот и переписывают, и читают, и поют творения такого настоящего поэта, вовсе не обязательно «с бутылками – по одной на брата». Впрочем, каждый по себе судит, или в бутылках, возможно, минералка...

Изяснее изясняются в другой газете: «Его несли словно бы исторгнуты из сознания толпы – как раз на том самом художественном уровне, на котором она их способна и хочет воспринимать... В сущности, здесь мы имеем дело с явлением скорее социальным, чем с фактом искусства, и потому корни творчества Высоцкого надо искать не в поэтической литературе, а в уличном фольклоре..., что рождала толпа двадцатых годов».

Можно согласиться с тем, что творчество Высоцкого – социальное явление. Да, явление – мощное, как явление природы. И действительно социальное, так как ведёт за собой общество: «Я иду в строю всегда не в ногу, шаг я прибавляю понемногу – и весь строй сбивается на мой». Но никакую часть этого общества он не считал толпой, уважая людей, из которых, собственно, и состоит народ: «Люди, власти не имущие! Кто-то вас со злого перелюю, маленькие, но и всемогущие ок-

решил безликою толпою. Будь вы на поле, у станка, в конторе, в классе, – но причислены к какой-то серой массе».

В каждом, даже в опустившемся, спившемся видел он человека, понимая глубинные причины трагедии народа: «Сплошная безотцовщина, пойна, да и ежовщина – а значит – поножовщина и годы – до обнов» или: «И нас хотя расстрелы не косили, но жили мы, поднять не смея глаз. Мы тоже дети страшных лет России – безвременье вливало водку в нас».

А теперь – по поводу того, имеем ли «мы дело с фактом искусства». В ответ на упреки художественному уровню песни, «соответствующему сознанию толпы», позволю себе, как частице этой самой «толпы», несколько строк. Вглядитесь, пожалуйста, в напечатанные стихи певца, если на слух не улавливаете. Замечаете там целые россыпи блистательных метафор, аллегорий? Лично я, вместе со всей «толпой» по сей день «способна и хочу их воспринимать». Смотрите-ка, рифмы: «украду хоть ночь я, растерзаю в клочья», а внутренние рифмы какие: «на серых хищников, матёрых и щенков». А вот аллитерации: «в синем небе, колокольнями проколотом». А почти в каждой песне драгоценный сплав формы и содержания вас не восхищает? Послушайте хоть раз: «Протопи ты мне баньку по-белому...» Вас не трогает: «Возвращаются все, кроме лучших друзей...»? Сколько лиричности в строках о влюблённых: «И душам их дано бродить в цветах...», но не переписывать же сюда всю «Балладу о любви», сами найдите и наслаждайтесь этим «социальным явлением» так, как наслаждаемся мы – хоть и «огрызки», но всё же «божественных генов». И ещё прошу, прочтите про Алису в стране, «где бегают фантазии на тоненьких ногах», а ещё лучше, прочтите всё, что пел и писал Высоцкий, и тогда, быть может, появится о нём совсем иная статья, не обязательно к юбилею. Не знаю, что имеется в виду под отсутствием «факта искусства», но для меня – вот искусство высшей художественной пробы (из песни «Купола»):

Душу, сбитую утратами да тратами,
Душу, стёртую перекатами –
Если до крови лоскут истончал, –
Залатаю золотыми я заплатами,
Чтобы чаще Господь замечал.

Если бы Владимир Высоцкий создал лишь эти звенящие строки, он всё равно был бы великим поэтом!

Берлин, январь 2003 г.

ПОБЕДА ИЛИ ПОРАЖЕНИЕ?

Много лет живя в Берлине, я ежегодно 9-го мая испытываю чувство глубокой скорби, и память возвращает меня в тот Великий день 45-го года.

Я вспоминаю красочный фейерверк праздничного салюта и пробую мысленно помянуть своих родных и их друзей, унесённых войной, – погибших на фронтах, пропавших без вести и сгинувших в лагерях.

Чем дальше отодвигают нас годы от событий Великой войны, тем меньше в душе моей ясности, и всё больше появляется безответных вопросов. Некоторые мои сверстники ощутили на себе зловещее дыхание войны – разрывы бомб, вой сирен, смерть близких. Другие видели войну лишь на экранах кинотеатров и на подмостках сцены. Боль потерь с каждым прожитым днём слабеет. Многие мои сверстники ушли из жизни за годы, прошедшие после войны. Это уже более свежие раны. Когда-то, будучи юношей, я прочитал в одной из книг, что павшие в бою непременно попадают в рай. Версия красивая, но, помню, тогда меня прошиб холодный пот.

Выходит, что и солдатам Вермахта обеспечено место в раю. Мне это показалось кощунством... Мог ли я тогда предполагать, что 60-летие Победы буду праздновать в Берлине? С судьбою договориться нельзя. Так уж она распорядилась...

Я мысленно возвращаюсь к тому, как в конце сороковых к какому-нибудь Вилли или Фрицу на дом пришла повестка. Его мать, увидев повестку, заголосила и запричитала точно также, как и моя мама, провожая старшего брата на фронт. Отец Вилли или Фрица старался держать себя в руках, неся какую-нибудь ахинею, что Гитлер приведёт Германию к расцвету и благосостоянию.

Но ведь и мой отец, собирая брата на фронт, вложил в его документы портрет Сталина в качестве талисмана и уверовав в справедливость миссии. А ведь отец прекрасно знал и про репрессии, и про голод, и про многие другие несправедливости сталинского режима. Светлая ему память, он был человеком умным, безумно любил сына и думал, что этот портрет подчеркнёт благонадёжность брата. Конечно, брат, а затем и отец, ушли защищать свой дом и своих близких, а Вилли или Фриц ушли отнять у нас наш дом и наших близких. Жаль, но если бы не та повестка, Вилли или Фриц разводили бы своих свиней или телят и копили деньги на свой колбасный заводик. Зачем им нужны морозные просторы Советского Союза? И чем мешали им их сверстники, которые

мирно жили, учились, работали?

Гитлер настроил Вилли или Фрица против их сверстников, приказав: «Уничтожь!» Наш же «лучший друг физкультурников» послал моих родных на верную смерть.

У меня перехватывает дыхание от мысли – какой ценой пришла к нам Победа. Жизнью почти 30 миллионов. Только на Завьяловских высотах под Берлином полегло свыше трёхсот тысяч.

Трудно представить себе эту массу, погибшую из-за бездарности военачальников и жестокости «отца народов».

Словом, уже сегодня я ненавижу тех Вилли или Фрица не с такой яростью, как прежде. К слову сказать, ведь его тогда убили, а я вот, живу. Зачем, спрашивается, мне надо, чтобы он, одуроченный, обобранный и убитый, горел в аду...

Пусть простят меня дорогие ветераны, но с годами я пришёл к выводу, что войну ту мы, безусловно, выиграли, а фашизм, увы, не победили. Фашистская мразь засела не только в пивных нынешнего Берлина или Мюнхена. Она беснуется в клубах и на площадях России, Украины, других бывших республик бывшего Советского Союза. Фашизм, в моём понимании, это не марш солдат с вытянутой вперёд рукой с оглушительным «хайль».

Маршировать можно и с благими намерениями, с безобидным «Миру – мир».

И не маниакальное стремление подчинить себе весь мир, такой безумной идеей одержимы многие, дошедшие до власти. Фашизм – это нечто другое, это частица дьявола, которая внезапно впивается в нас, и надо всегда о ней помнить и вовремя отодрать эту пакость от своего сердца. Теперь, приехав сюда, в Германию, мы жалуемся: «Как много здесь югославов, негров, турков» или «Как много там ворья – новых русских, которым все слишком легко досталось», – мы превращаемся в крошечных нацистов, а это отвратительно и недопустимо. Мы должны выкорчевать из себя это. Нет, мы по сей день не победили... Победим ли?

Фёдор Достоевский писал: «На Небе Бог с Дьяволом бьются, а полс битвы – сердца людей».

АДАМ ЧЕРНЯКОВ И ЕГО РОЛЬ В ИСТОРИИ ВАРШАВСКОГО ГЕТТО

В один из дней в конце 1947 или начале 1948 года в Еврейский Исторический Институт в Варшаве пришла немолодая женщина. Она назвалась госпожой Фелицией Черняковой – вдовой Адама Чернякова и предложила купить у неё за незначительную оплату дневники покойного мужа. В покупке этих дневников ей было отказано. Среди немногочисленных оставшихся в живых узников Варшавского гетто мнение о Чернякове и его деятельности было неоднозначным и, у части из них, отрицательным.

Выполняя роль связующего звена между многочисленными ведомствами оккупационных властей и еврейским населением города, он подвергался издевательствам и унижениям со стороны оккупантов, и в то же время многие узники гетто считали его их пособником. Изю дня в день его видели входящим в двери самых зловеющих учреждений оккупационной власти или встречали на улицах в сопровождении чинов СС и гестапо. Многим казалось, что людоедские приказы и распоряжения оккупантов, которые он доводил до сведения населения, были результатом его инициатив. Впоследствии его обвиняли в том, что он так и не решился на прямой призыв к сопротивлению.

Фелиция Чернякова умерла в Варшаве в 1950 году. Дневники мужа она передала родственнику, уезжавшему во Францию. Впоследствии они каким-то образом оказались в Канаде. В 1964 году их приобрел за весьма крупную сумму Иерусалимский институт «Yad Vashem», и в 1968 году они были изданы в переводе на иврит. На польском языке – языке оригинала их издали в 1972 году в Варшаве.

В переводе на русский язык они до сих пор не публиковались.

Адам Черняков (1880–1942) в предвоенной Варшаве был личностью заметной: обладатель двух инженерных дипломов, перу которого принадлежал ряд научных работ по химии, он владел несколькими иностранными языками, увлекался музыкой, писал стихи. До 1918 года Черняков был активным участником польского освободительного движения, арестовывался царской охранкой. После окончания первой мировой войны, уже в независимой Польше, он занимал высокие должности в правительственных учреждениях, избирался в состав сейма Варшавы, был депутатом польского парламента.

Черняков – типичный представитель ассимилированных еврейских интеллигентов. Он был убежденным сторонником основателя независимой Польши – маршала Пилсудского. По словам очевидцев, даже в годы фашистской оккупации, вопреки запретам властей, в его служебном кабинете висел портрет маршала. Подобная политическая ориентация не вызы-

вала одобрения как среди сторонников левых партий, так и у сионистов.

В сумятице первых дней войны, в сентябре 1939 года, еврейская община Варшавы оказалась лишённой руководителя. Её тогдашний председатель Майзель эвакуировался на восток. Черняков, в прошлом – заместитель Майзеля, стал председателем этой общины. Инициатором этого назначения в осаждённой немцами, горящей столице был президент Варшавы – Стефан Стажинский, личность в Польше легендарная, руководивший в те дни обороной города (погиб в одном из фашистских концлагерей в 1943 году). Назначение это состоялось 23 сентября 1939 года, за неделю до капитуляции Варшавы.

Первая запись в дневнике Чернякова датирована шестым сентября 1939 года. Последняя запись сделана им 23 июля 1942 года, в день смерти. Дневник вёлся аккуратно изо дня в день. Записи в дневнике лаконичны, подлинный смысл некоторых из них может быть понятным только автору. Будущая их публикация явно не предполагалась. Они предельно искренни. События излагаются, на первый взгляд, бесстрастно, эмоции автора чаще проглядывают между строк, порой в них ощущается горькая самоирония.

Дневники касаются всех сторон существования общины, а после создания в ноябре 1940 года гетто – жизни в его стенах. Многие записи относятся к финансовому положению общины. Постоянно приходилось выплачивать крупные суммы в качестве выкупа за заложников, платить штрафы за неимущих, нарушивших какое-либо распоряжение властей. Множились эти распоряжения, множились и штрафы. Доходы общины явно не покрывали расходов. В холодное время года в каждой дневниковой записи указана температура воздуха. Топливо в гетто – дефицит, люди замерзали в жилищах. Записи касаются быта домов сирот, больных, приютов для престарелых, создания рабочих мест /на территории гетто велась скудная производственная деятельность/. Непрерывно приходилось добиваться хотя бы минимальных поставок продовольствия. Сохранение культуры Черняков считал важным условием выживания. Не без его участия в сложнейших условиях гетто создаётся еврейский симфонический оркестр, джаз-оркестр, работает театр, оказывается поддержка художникам. На какое-то время ему удаётся открыть школы, работают различные курсы. 25.11 1941 года в гетто состоялся симфонический концерт. За дирижёрским пультом стоял известный дирижёр, профессор Варшавской консерватории Шимон Пульман.

Оркестр насчитывал около 70 великолепных музыкантов. Довольно скромно в нём была представлена только медная группа: не хватало инструментов, да и не у всех музыкантов сохранились силы для игры на духовых инструментах. Вопреки запрету, исполнялись произведения Бетховена, Грга, Гайдна, Шопена. Разрешалось исполнять только произведения композиторов – евреев: Мендельсона, Оффенбаха, Бизе, Меербергера, Халеви. Последний концерт состоялся 10. 06. 1942 года.

В гетто работала школа графики, была организована выставка работ учеников ремесленных училищ.

Изредка в дневнике встречаются скудные упоминания о событиях на театрах военных действий. В них мало ещё обнадеживающего для узников гетто. Некоторые немногочисленные короткие записи носят и личностный характер. В дневниках упоминаются фамилии многих чиновников различных ветвей оккупационной власти. Их характеристики и отношение к ним автора отсутствуют. Они и не нужны: события в гетто достаточно полно высвечивают характеры действующих лиц.

Практически нет дня, когда бы не пришлось хлопотать о судьбе кого-либо из арестованных, ходатайствовать о дополнительном выделении продуктов, отсрочке штрафов или о выкупе заложников и т. п.

Сохранилось восемь из девяти тетрадей дневника — 1056 листов. Пятая по счёту тетрадь с записями с 14 декабря 1940 по 22 апреля 1941 года — утеряна. Вероятнее всего она была конфискована гестапо при аресте автора. С 6 по 10 апреля 1941 года он находился в заключении. Дневник не вёлся им ещё некоторое время спустя после ареста, возможно, в связи с тем, что Черняков был жестоко избит гестаповцами при аресте. Он постоянно терпел унижения, несколько раз арестовывался на короткое время и, как уже упоминалось, подвергался даже избиениям. Несмотря на это он, по словам очевидцев, умудрялся вести себя достойно, что вызывало к нему уважение даже у некоторых из оккупантов. Что же руководило этим человеком, что заставляло его добровольно переносить весь этот ужас в течение долгих месяцев его пребывания на посту председателя общины? Известно, что он имел возможность эмигрировать, от которой сознательно отказался.

Вероятно, он надеялся, что его деятельность облегчит участь евреев Варшавы. Он, будучи патриотом Польши, считал, и часто заявлял, что всё ещё выполняет поручение законных польских властей, которые его на эту должность назначили. Кстати, он никогда не называл руководимое им учреждение «юденратом», как это было принято у гитлеровцев. Он употреблял всегда слово «gmina» — «община», как бы подчёркивая этим преемственность по отношению к довоенному её статусу. Поначалу он, как и многие, не мог себе представить, что фашисты замыслили полное уничтожение евреев. В нормальном человеческом мозгу такая мысль не укладывалась. Где-то теплилась надежда, что в ходе военных действий наступит перелом и фашисты потерпят поражение. Не думалось также, что мир может безразлично смотреть на то, что происходило. Он надеялся, что его действия смягчат участь евреев Варшавы, считал, что вооружённое сопротивление при существующих обстоятельствах только спровоцирует новые жертвы. Трудно было призывать к вооружённому сопротивлению в условиях гетто, где на очень ограниченном пространстве жили сотни тысяч беспомощных стариков, женщин и детей.

В его дневниковых записях чётко прослеживается та страшная спираль унижения, насилия и убийств, которую раскручивали оккупационные власти по отношению к евреям Варшавы.

Ниже приводятся некоторые из дневниковых записей Чернякова, часть из них – в сокращённом виде. Некоторые снабжены необходимыми комментариями. Комментарии приведены курсивом.

«15.11.1939. Хмурое утро. Мне скоро 60. Из-за комендантского часа ложусь спать обычно около девяти. В результате просыпаюсь около двух и с перерывами, то просыпаясь – то засыпая, читаю «Дон Кихота». О, как бы пригодился этот рыцарь сегодня! От жалоб, обращённых ко мне, раскалывается голова.

В Аннополе (пригород Варшавы) всех евреев выгнали из бараков. Мне на голову свалились евреи, выселенные из четырёх местечек, больницы, дом сирот и псих-больница.» (К 350 тысячам евреев – жителей Варшавы постепенно добавлялись евреи из окружающих городов и сёл, а также немецкие и чешские евреи, так что гетто, размеры которого всё время сужались, к началу его ликвидации насчитывало пол миллиона жителей.)

Несколько дневниковых записей касаются дела о заложниках с улицы Налевки, 9.

В этом доме уголовник-рецидивист убил полицейского. Из этого дома были взяты 53 мужчины в качестве заложников. Фашисты дали двухдневный срок для внесения за них выкупа в 300 000 злотых. Вот записи, касающиеся этих событий :

«24.11. 1939 – 7 утра, делегация женщин с улицы Налевки № 9. В 8 утра заседание в общине. Вечером появилась возможность внесения 100 000 злотых в СС. Может быть, завтра будут остальные деньги. В промежутке, около 12 часов, пришло требование явки в СС в качестве заложников ещё 3 – 6 раввинов, 6 других известных членов общины, 5 членов правления общины. Брандту (Карл Георг Брандт – заместитель шефа «еврейского» отдела СД) сообщил, что я согласен явиться вместо них.»

Затем направился к Баатцу (Dortor Bercharnd Baatz – руководитель одного из отделов СС) и добился отмены требования о новых заложниках.

« 25. 11. 1939. В 5ч.30' отнёс в СС 102300 злотых. Не достает 38000.

Хлопотал по делу о задержанных с улицы Налевки, 9.

Раввины в синагогах не смогли провести сбор денег в фонд выкупа.

Люди не идут в синагоги, боясь быть схваченными по дороге и отправленными на принудительные работы.»

«26.11.1939. С самого утра матери с улицы Налевки, 9 устроили скандал в общине.

Выкуп внесён мной полностью ещё вчера..

«27. 11. 1939. Утром хлопотал в следственном отделе по вопросу о заложниках.

«28. 11. 1939. 9 утра. Доктор Клюге (чиновник СС) сообщил, что все 53 заложника расстреляны. Место их захоронения сообщить отказался.

11 часов утра в общине. Члены правления советуют мне отложить извещение родных до завтра. Я не согласился. Позвал родственников к себе, сообщил им о расстреле. Присутствовал при этом лишь один член правления, остальные предпочли поспешно удалиться. Разыгравшуюся сцену описать невозможно: проклятия в мой адрес.

В 1час 30' я вышел из здания общины. Родственники погибших пытались остановить фаетон, цеплялись за колёса. Чем я мог им помочь?

В 3 часа я направился в СС с целью добиться выдачи тел расстрелянных их семьям.

К сожалению, не застал никого, кто мог бы решить этот вопрос.

«01.12. 1939. — утром в СС по делу о нарукавных повязках. Как мне в общине сказали, семьи расстрелянных искали меня, стремясь сделать из меня козла отпущения.

Кто лучше меня мог бы годиться на эту роль? Одна из женщин называла меня убийцей.

Распускались слухи, что выкуп был внесён с опозданием. По другим слухам, я знал о предстоящем расстреле и скрывал это.

Характерно, что когда я один остался в кабинете, а в соседней комнате несчастные оплакивали родных, один из моих коллег прислал ко мне чиновника «для защиты», а сам предпочёл улетучиться.

Сегодня же мне принесли повязку со Звездой Давида. Таким образом мне вручён новый «знак отличия», правда, при несколько иных обстоятельствах, чем они мне вручались в прошлой жизни. Позже принял меня Баац — отказал в выдаче тел расстрелянных.»

«11.12.1939. Еврейские аптеки перестали существовать. Еврейские школы открыть невозможно.» (Впоследствии, уже после возникновения гетто, Чернякову удалось на какое-то время открыть ряд школ и различных курсов, дипломы которых признавались даже и в послевоенной Польше. Высококвалифицированные преподаватели имелись в избытке. Были открыты и аптеки.)

«31.12.1939. « Опасения о судьбе библиотеки Балабана (Профессор Варшавского Университета Майер Балабан, близкий друг Чернякова, известный библиофил). В общине двое похорон её сотрудников. Тело отца одной из несчастных жертв с улицы Налевки 9 найдено среди развалин. Дочь его сказала, что это настоящее «счастье», что она узнала отца. Новое определение понятия « счастье».

Приходили какие-то двое и объявили о предстоящей реквизиции моей квартиры.

Для встречи нового года, пожалуй, достаточно.»

«29.02 1940. По требованию Эрвина Супингера (Erwin Supinger —

старший советник Stadpräsidenta Oskara Dengela по вопросам порядка на улицах и их санитарного состояния) евреи – мужчины обязаны приветствовать любого немца снятием головного убора, женщины – поклоном».

«11.03.1940. «Реквизиция мебели. Община обязана поставить 200 комплектов мебели для квартир немецких чиновников, а также постели и 15 роялей.»

15.03.1940. «Утром в 5ч. 30' на ул. Твардую. Появился Менде (Gerhard Mende – сержант СС из «еврейского» отдела СД) со свитой. Рабочие появились в 6ч. 30'»

(Опоздание из-за комендантского часа).

Опоздавших наказывали на месте. Починка плётки за счёт общины.» (Беспощадно бил сам Менде.)

01.07.1940. «В общину явились избитые за то, что не приветствовали на улицах немцев.»

02.07. 1940. «Приходили евреи, которых избивали несмотря на то, что они поклонились немцам».

В июле 1940 года началось строительство стен гетто.

« 24.08.1940. Во время реквизиции мебели у знакомых чиновник выразил сожаление, что у них не нашлось ещё и энциклопедии.»

«30.08.1940. « Маленькому 3. родители купили письменный стол, о котором он давно мечтал. Вечером этот стол был реквизирован.»

«12.10.1940. Сегодня Йом Кипур. Нам сообщено, что в «гуманных целях», по распоряжению губернатора и по поручению высших властей, создаётся гетто.

Мне вручён его план. Поручили создать еврейскую полицию численностью 1000 человек. До 31.10. переселение евреев в гетто добровольное, затем принудительное.»

Среди чиновников общины были и коррупционеры.

Вот одна из иронических записей в дневнике по этому поводу:

«19.10.1940 Корчак (Януш Корчак – знаменитый писатель, педагог и детский врач, близкий друг Чернякова) спросил, есть ли у меня уже квартира (в гетто), и заметил, что если у меня её нет, он может назвать мне фамилию служащего нашей общины, который мне её за взятку предоставит.»

«13.05. 1941 Голод в гетто. На тротуарах можно увидеть прикрытые газетами трупы умерших.

На улицах вырывают сумки, крадут хлеб. «Служба порядка» (еврейская полиция гетто) предупреждает, что перевозка хлеба из пекарни небезопасна. Женщины используют для переноски хлеба кошёлки окутанные проволокой.»

«19.05.1941. Сообщил Мюллеру (Johanes Müller – комендант СД), что с 1 по 15 мая умерло 1700 евреев и евреек из-за недостатка питания. В среднем на одного человека в день приходится продуктов стоимостью

13 грошей. У поляков в Варшаве – это всё же 35 грошей. (Стоимость коробки спичек в это время – 15 грошей).»

«29.06.1941 Утром – в общине. Глюксберг (сотрудник общины) купил для меня порошки от головной боли. Какой-то мальчик на улице вырвал их у него из рук и начал посягать.»

«23.08.1941 Раньше иногда писал стихи. Для этого требуется богатая фантазия. Однако моя фантазия никогда не достигала таких высот, чтобы суп, который мы раздаём людям, назвать обедом.»

«02.09.1941. Полиция реквизировала 600 продовольственных посылок на почте, внёс протест по этому поводу.»

«19.11.1941 В приютах матери по 8 дней скрывают факт смерти детей, чтобы получить немного лишнего продовольствия.»

«07.12.1941. В 12.00 открыл курсы фармацевтов»

«14.12.1941 Завтра должны быть расстреляны 17 человек за самовольное пребывание вне стен гетто.»

«15.12.1941 Расстреляли 15 человек из поименованных вчера семнадцати. Одна женщина умерла до расстрела, одна тяжело больна.»

«04.03.1942. Ауэрсвальд (уполномоченный оккупационных властей по делам евреев) опять заявил о сужении границ гетто. Несколько тысяч евреев потеряют крышу над головой.»

Площадь гетто по приказам властей постоянно сокращается. Невероятная теснота в гетто с каждым днём усиливается. Еврейское кладбище находится вне стен гетто. На каждые похороны требуется отдельное разрешение, которое получить нелегко. Выход за пределы гетто без разрешения наказывается смертной казнью.

Порой покойники выносятся тайно через мастерскую и квартиру пожилого сапожника, второй выход из которой расположен рядом с кладбищем.

С первых дней 1942 года началась депортация жителей гетто в лагерь уничтожения Трешлинка.

«06.03.1942 Община должна внести 60 000 злотых для оплаты охраны в лагере Трешлинка». (Верх цинизма!)

«11.03.1942 «Добился освобождения 151 арестованного, все обрадованы этим событием. Впервые увидел улыбки на лицах жителей гетто.»

Всё больше прибывает евреев из Германии. Среди них много протестантов и даже один пастор. Он как-то пришёл к раввину с просьбой о помощи в изыскании места для отправления молебна. Спрошенный, почему он обращается к духовному лицу другой веры, ответил, что в настоящее время «заступничество только одного единственного Бога явно недостаточно.» Всё чаще отправляются транспорты в Трешлинка.

22.07.1942 «В 10.00 появился штурмбанфюрер Хесфле (штурмбанфюрер СС Herman Höfle – уполномоченный «по вопросам переселения» – так именовалась депортация в лагерь уничтожения.) Нам объяви-

ли, что евреи вне зависимости от возраста и пола должны быть «переселены на восток». Сегодня до 16.00 должно явиться их 6000. И так ежедневно.» На деле это означало планомерную депортацию в лагерь уничтожения..

Последняя запись в дневнике датирована 23.07.1942года

«Утро. Община. Появился Вортхоф (Herman Worthoff), офицер СС из штаба по переселению, с которым я обсудил ряд вопросов. Он освободил от немедленной депортации учеников ремесленных училищ, а также мужей женщин, работающих на предприятиях производящих продукцию для немецкой армии.

В отношении сирот велел обратиться к Хефле. Тоже самое в отношении ремесленников. На вопрос сколько дней в течении недели будет проводиться акция по «переселению», было сказано, что все 7 дней. В городе стремление к открытию любых мастерских. Швейная машинка может спасти жизнь.

На почту пришли какие-то чиновники: все письма и посылки следует отправлять на Павяк.» (Павяк – известая в Варшаве тюрьма вне гетто и при ней полицейский участок).

В этот же день Черняков покончил жизнь самоубийством, приняв в своём кабинете в общине цианистый калий.

На его письменном столе лежала коротенькая записка, адресованная жене: «Требую, чтобы я собственными руками убивал детей моего народа. Мне не остаётся ничего другого как только умереть.»

Была найдена также записка, адресованная членам правления общины: «Были у меня Вортхоф с товарищами (эсесовский штаб по депортации) и потребовали подготовить на завтра транспорт детей. Это переполнило чашу моего терпения. Ведь не могу я выдавать на смерть беззащитных детей. Я решил уйти.

Не считайте это трусостью или побегом. Я бессилен, моё сердце разрывается от боли и сострадания, дольше терпеть этого я не могу. Мой поступок прояснит истинное положение вещей и, возможно, укажет правильный путь. Сознаю, что оставляю вам тяжёлое наследство.»

Многие восприняли фразу о «правильном пути» как призыв к сопротивлению. Многие считали, что Черняков должен был осознать это раньше.

До восстания в погибающем Варшавском гетто оставалось почти девять месяцев, до освобождения Варшавы Советской Армией 2,5 года.

Перевод дневниковых записей Адама Чернякова с польского и комментарии к ним – автора настоящей статьи.

Судьбы некоторых из палачей Варшавы:

1. Строоп Юрген (Jürgen Stroop) генерал СС – руководитель подавления восстания в гетто. Казнён по приговору польского суда в Варшаве 6 марта 1952 года.

2. Д-р Ауэрсвальд Хайнц (Auerswald Heinz) – главный уполномоченный властей по делам евреев в Варшаве. Судим не был, умер 05.02 1970 года

3. Баац Бернхард (Baatz Bernhard) – капитан СС, руководитель одного из отделов. Вскоре после войны покончил жизнь самоубийством.

4. Брандт Карл Георг (Brandt Karl Georg) – заместитель шефа «еврейского» отдела СД. Судим не был.

5. Денгель (Dengel Oskar) – президент оккупированной Варшавы. Осуждён Варшавским судом 30.03.1951. – 15 лет заключения.

6. Д-р Фишер Людвиг (Fischer Ludwig) – группенфюрер СА, губернатор округа Варшавы. Осуждён Варшавским судом 03.03.1947 – смертная казнь.

7. Хефле Герман (Hoelfe Herman) – штурмбанфюрер СС – уполномоченный по делам «переселения евреев», т. е. депортации в лагеря уничтожения. Арестован в 1961 году. Покончил жизнь самоубийством в 1962 году в тюрьме в Вене до суда.

8. Менде Герхард (Mende Gerhard) – сержант СС, занимал высокий пост в «еврейском отделе СД, отличался особой жестокостью. Судим не был.

9. Мюллер Иоганес (Müller Johannes) – комендант СД Варшавы. Судим не был.

10. Супингер Эрвин (Supinger Erwin) – советник президента города Варшавы. Это он издал указ об обязательном приветствии евреями любого немецкого солдата. Судим не был.

Источники :

1. „Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego.”
Opracowanie i przypisy Marian Fuks.
Państwowe wydawnictwo naukowe. Warszawa 1983
2. Marcel Reich – Ranicki
„Mein Leben“ DVA Stuttgart 1999 S. 243 – 251
3. Teofila Reich – Ranicki
„ Bilder aus dem Warschauer Ghetto
Herausgegeben vom Jüdisches Museum Frankfurt a. M. 2000
4. Emanuel Ringelnblum Ghetto Warschau Tagebuecher aus dem Chaos
Seewald Verlag Stuttgart 1967. S.45, 202
5. Zygmunt Bauman
Dialektik der Ordnung
Die Moderne und der Holocaust
Europäische Verlagantat Hamburg 1992
6. Janusz Korczak
„ Pamiłtnik”
Poznań 1984. Wydawnictwo Poznańskie.
7. „Das wunderbare Überleben“ von Władysław Szpilman
Econ 1998 Düsseldorf und München .

ЕВРЕЙСКАЯ БОЛЬНИЦА БЕРЛИНА В ГОДЫ НАЦИЗМА

Вместо предисловия

В самом центре Берлина, в районе Wedding находится Еврейская больница. Когда-то в ней работали мои родители. Папа – врачом, ассистентом профессора Г.Штрауса, мама – медицинской сестрой. В 1929 году они поженились и отец перешёл работать в Neukölln врачом тубдиспансера. После прихода Гитлера к власти отца как лицо „неарийского происхождения“ с работы уволили, и осенью 1933 мы эмигрировали в Советский Союз. Перед отъездом папа зашёл к профессору Штраусу попрощаться. Узнав, что мы уезжаем в Россию, профессор воскликнул: „Куда вы едете?“. Ни тот, ни другой не знали, конечно, что лучшие годы своей жизни отец проведёт в сталинских лагерях. Время показало, что и профессор сделал неправильный выбор. Посетив в 1937 году Палестину, он возвращается в Германию, где в 1942 году был арестован и сослан в концлагерь Терезин. Здесь он и погиб. Профессор Герман Штраус заведовал отделением внутренних болезней Еврейской больницы с 1911 года вплоть до ареста.

Прошли годы, десятки лет. Дома всегда с какой-то особой теплотой вспоминали Еврейскую больницу, с большим уважением говорили о профессоре Штраусе. И это тепло, это уважительное отношение к коллегам вошло в меня и стало частью моей жизни. Спустя 58 лет мы с мамой вернулись на родину и наше знакомство с городом началось, естественно, с Еврейской больницы. Принял нас заместитель главного врача. Узнав о мамином недуге, он предложил ей лечь на обследование. Персонал сердечно отнёсся к новой пациентке, признав в ней свою коллегу. Из бывших сотрудниц в живых мама уже никого не застала. При выписке маме подарили книгу об истории Еврейской больницы⁴. Из неё мы узнали о страшной судьбе врачей, сестёр и обслуживающего персонала больницы в годы нацизма, о их нечеловеческих усилиях по спасению больных, о людях, которые делали всё возможное, чтобы уберечь евреев от гибели. Беспомощность больного сама по себе унижительна. Преследование и дискриминация его преступна. О трагических событиях того времени, о жизни Еврейской больницы Берлина тех лет

⁴ Zerstörte Fortschritte. Herausgegeben von Dagmar Hartung-von Doetinchem und Rolf Winau. 273 S. Edition Hentrich, Berlin, 1989

мне хотелось бы рассказать в предлагаемом очерке.

С приходом Гитлера к власти количество больных в Еврейской больнице резко пошло на убыль. Это произошло по двум причинам: во-первых, в связи с тем, что больничные кассы перестали оплачивать счета за лечение у врачей-евреев, во-вторых, за счёт уменьшения числа больных, лечение которых до этого оплачивало социальное ведомство. Вскоре картина изменилась к лучшему: врачи-евреи, уволенные из других больниц Германии, в том числе и из берлинских, в поисках работы устремились в Еврейскую больницу. Были открыты новые отделения: кожных болезней, нервных болезней и отделение уха, горла и носа. Научный уровень врачей и профессуры был исключительно высок, и многие думали, что нацисты оставят Еврейскую больницу в покое.. Между тем в больницу стали поступать жертвы антисемитского произвола. В истории болезни следовало избегать упоминаний о причинах побоев и ранений. Так нужно было, чтобы не ставить под сомнение само существование Еврейской больницы. В 1935 г. количество госпитализированных заметно увеличилось. При этом только 2/3 больных были евреями, остальные – христианами. Период с 1933 до середины 1938 года был для Еврейской больницы относительно спокойным. Больница была местом убежища для больных евреев. Правда, сотрудники знали только дорогу из дома на работу и обратно: появление в кино, на танцах, в театре и других общественных местах из-за частых облав было небезопасно.

В июле 1938 года у врачей-евреев было отнято право заниматься врачебной деятельностью. Врачи Еврейской больницы находились в лучшем положении, чем врачи-евреи других больниц и практик: они могли продолжать свою работу. Однако врач уже не имел права называть себя врачом, а только „Krankenbehandler“, т.е. „обслуживающим больного“. Летом 1938 года все больные неевреи были выписаны из Еврейской больницы либо переведены в другие лечебницы.

Первые заключённые из ближайшего концлагеря Заксенхаузен стали поступать в Еврейскую больницу в конце 1938 года. Это были доходяги, которых доставляли в больницу с гнойными ранами и гангреной. Замордованные, запуганные люди ничего не рассказывали о том, что с ними делали в концлагере. Когда к ним обращались, они, лёжа в постели, вытягивались по стойке „смирно“ и на все вопросы отвечали только „да“ или „нет“. Они никак не могли привыкнуть к тому, что находятся среди людей, которые готовы им помочь. Тем не менее, персоналу следовало соблюдать осторожность, т.к. среди поступающих были и провокаторы.

Газовая гангрена с трудом поддавалась лечению. Больных лечили,

используя украдкой неприкосновенный запас медикаментов, предназначенных для немецкой армии. И всё же одна треть пациентов с гангреной скончалась. Тем, которые выжили, ещё целый год проводились пластические операции по пересадке кожи. Зав. хирургическим отделением доктор З. Островский писал в своих воспоминаниях, что доставка искалеченных узников из концлагеря в больницу объяснялась, по его мнению, не гуманными соображениями гестапо, а имела одну единственную цель: ускорить эмиграцию евреев из Германии: дескать, смотрите, что с вами будет, если вы не уедете.

Кроме этого, в больницу поступали заболевшие узники берлинских тюрем, где для них было развернуто полицейское отделение на 40 коек. Окна в отделении были зарешечены, двери постоянно закрыты. Обслуживание больных осуществлялось сотрудниками больницы.

Период с ноября 1938 г. до первого сентября 1939 года ознаменовался годом принудительной эмиграции евреев. За это время из Еврейской больницы уволилось примерно 80 врачей и медицинских сестёр. Покидавших страну обирали до нитки: всё имущество конфисковывалось, а денежные вклады замораживались. Человек мог взять с собой только 10 рейхсмарок. После ноябрьского погрома еврейские больницы в городах Бреслау (ныне Вроцлав), Кёльн, Гамбург и Ганновер были закрыты. Наиболее тяжело пострадавшие во время погрома евреи поступали со всей Германии в Еврейскую больницу Берлина.

В 1938 году при больнице была создана партиячейка национал-социалистов, которую возглавлял машинист лифта. Ячейка осуществляла контроль за деятельностью больницы. В задачу партиячейки входило также наблюдение за „неблагонадёжными“. Следовало соблюдать крайнюю осторожность в работе и не давать повода для доносов.

Несмотря на нехватку персонала, больница продолжала работать с полной нагрузкой и оставалась учебным центром по подготовке медсестёр. Последний сестринский курс начал свою работу в марте 1941 года. Окончившая курс и сдавшая экзамен получала звание „Еврейской медсестры“ с правом обслуживания только евреев.

С 1940 года начались налёты английской авиации на Берлин. С объявлением воздушной тревоги персонал вместе с больными спускался в подвал.

Годы 1941-1943 наиболее трагичные в истории еврейской общины Берлина. В конце сентября 1941 года во время богослужения в честь праздника Йом Кипур главный раввин еврейской общины Лео Бэк получил приказ о немедленном превращении синагоги на Levetzowstr. в сборный пункт для депортации евреев на восток. На сборном пункте работали врачи и сёстры Еврейской больницы. В число депортируемых входили жильцы дома престарелых со своим медперсоналом, который

не имел права принимать участие в подготовке к отъезду. Многие престарелые люди от страха мочились под себя. Их приходилось пеленать. Не успевали перепеленать последнего, как первый опять был мокрым. Контакт с сёстрами дома престарелых для сотрудников Еврейской больницы был категорически запрещён.

С началом массовой депортации среди евреев участились случаи самоубийств. Несчастные принимали либо цианистый калий, либо забирались в квартиру и включали газ. Все они поступали в Еврейскую больницу. Пытавшихся покончить с собой было так много, что разместить их могли только в водолечебнице. Персонал поначалу не знал, что с ними делать, живые они или мёртвые. На всякий случай всем поступавшим промывали желудок. В этой лавине суицидов возникали и этические проблемы: а нужно ли оживлять? Тут мнения сотрудников разделились: одни считали, что нужно, другие были противоположного мнения: „Дайте спокойно умереть человеку“. Ведь сама попытка самоубийства жестоко каралась властями. Тех, которых удавалось спасти, помещали в полицейское отделение больницы. Там их лишали еды и с первым же транспортом отправляли на восток, в лагеря уничтожения. Если кому-то удавалось бежать из полицейского отделения, то нёсшая дежурство медсестра тут же сама отправлялась в концлагерь. Начиная с октября 1941 года около 7000 евреев Берлина покончили с собой.

До сентября 1942 года Еврейская больница была переполнена. Хирургическая активность в это время достигла своего пика. Особенно много операций было произведено в глазном отделении. Чтобы уберечь людей от депортации или, по крайней мере, отсрочить её, нередко производились мнимые операции. Лишь в конце 1942 года число операций пошло на убыль. Это произошло в результате депортации не только еврейского населения Берлина, но и части сотрудников больницы. С 1941 по 1942 персонал Еврейской больницы уменьшился по этой причине примерно на 100 человек. Несмотря на людские потери, руководство больницы поддерживало среди сотрудников строжайшую дисциплину. Возможно, что только за счёт этого чувство постоянного страха быть отправленным в один из лагерей уничтожения в определённой степени было подавлено. Не нам дано рассуждать о психологии страха и о поведении людей в тех условиях. Никто из переживших Катастрофу не рассчитывал выжить. Каждый день мог быть последним в жизни сотрудника. Но страх не всегда парализует волю человека, к нему в ряде случаев просто привыкают. Вот что вспоминает одна из бывших медсестёр, работавшая в то время в больнице: „Мы не думали, что переживём этот ужас и почти свыклись с мыслью о смерти. К концу войны я уже не боялась ни бомбардировок, ни гестапо. Ну разве что „чуть-чуть“. Но не настолько, чтобы воздержаться от кражи овощей. Коров, которые содержались во дворе больницы, я боялась по-настоящему. Не дай бог

ночью столкнуться с бодливой коровой по дворе".

В марте 1941 года все евреи Германии были привлечены к принудительным работам. В то время это рассматривалось как благо, ибо, начиная с 1939 года, власти ввели для евреев запрет на все виды профессий, что обрекало их, по существу, на голодную смерть. До конца 1942 года между вермахтом и гестапо существовало соглашение, по которому евреи, работающие на оборонных предприятиях, исключались из числа депортируемых. С начала 1943 года картина изменилась: руководство вермахта дало „зелёный свет“ на депортацию евреев, занятых на фабриках и заводах. Таким образом, в субботу, 27 февраля 1943 года, была осуществлена колоссальная по масштабу „фабричная акция“. После этого число евреев в Берлине заметно уменьшилось. Уменьшилось и количество больных в стационаре. Начиная с марта 1943 года в больнице производилось не более 30 операций в месяц.

Спустя два месяца после начала массовой депортации (октябрь, 1941) при Еврейской больнице был создан пункт рекламации для депортируемых. Его возглавил доктор Walter Lustig - член президиума „Имперского объединения евреев Германии“, деятельность которого была целиком под контролем гестапо. По мере сил и возможностей в этом пункте пытались уберечь или по крайней мере отсрочить депортацию евреев. Здесь решался вопрос о транспортабельности жертвы. В диагностическом отделении пункта рекламации работало 6 врачей, 6 сестёр и 6 секретарей-машинисток. Кроме этого, двое врачей осматривало лежачих больных на дому. По вечерам врачи диктовали протоколы обследования больных и делали по каждому случаю свои выводы. Из числа депортируемых исключались больные с туберкулёзом в конечной стадии, а также страдающие грудной жабой в тяжёлой форме. Беременных можно было спасти от транспортировки только в том случае, если роды были в ходу. Через 6 недель ребёнка с мамой отправляли на восток. Были и другие заключения. Например: „по состоянию здоровья не транспортабелен; через некоторое время нуждается в повторном осмотре“, или „нуждается в операции“, или „для восстановления трудоспособности подлежит лечению“. Признанные „практически здоровыми“ включались в списки „эвакуируемых“. Гестаповцы постоянно прибегали к подобного рода эвфемизмам, чтобы скрыть от жертв цель своих намерений: вместо слова „депортация“ использовались более „шадящие“ термины: переселение, эмиграция, эвакуация и т.п.

Летом 1942 года в Еврейской больнице было развернуто психиатрическое отделение на 120 коек. Сюда поступали душевнобольные евреи со всего рейха. Большая часть больных других психиатрических лечебниц Германии уже в октябре 1941 была вывезена в лагеря уничтожения. Многие больные были с иностранными паспортами. Как только срок действия их истекал, они становились людьми без гражданства, и их

тут же отправляли в концлагерь. В одну из суббот конца 1942 года все 100%-ные евреи (Volljuden) - пациенты Еврейской больницы были арестованы и депортированы. За ними последовали многие врачи и медсестры.

В декабре 1942 года у больницы были конфискованы здания, в которых размещались общежитие для медсестёр, инфекционное и гинекологическое отделения. В одном из этих зданий разместился 147 лазарет вермахта. Взаимоотношения с персоналом лазарета были нормальными. Сантехники Еврейской больницы имели возможность подработать в лазарете. За это их там кормили. Напомним, что сотрудники Еврейской больницы не получали ни мяса, ни молока, ни яиц, ни рыбы. И очень мало жира, хлеба и картофеля. От раненых офицеров лазарета персонал Еврейской больницы узнал о жуткой судьбе депортированных.

Депортация сотрудников Еврейской больницы происходила в несколько этапов. 20 октября 1942 года всем сотрудникам еврейской культовой общины предложили явиться к 7 часам утра на Oranienburger Strasse 28. Собралось около 300 человек, в том числе и работники здравоохранения. В 10 часов явились представители гестапо и предложили доктору W. Lustig самому отобрать 100 человек для депортации. Это было для него тяжёлым испытанием (к тому времени он уже стал главным врачом больницы). О чём думал он в этот момент, мы никогда не узнаем, но он поначалу пытался уклониться от этой „привилегии“. Тогда гестаповцы сами стали выдёргивать из толпы первых попавшихся. И только после этого Lustig приступил к отбору кандидатов на депортацию. Из 100 отобранных 18 бежало и перешло на нелегальное положение. Вместо них было арестовано и отправлено в концлагерь 18 других сотрудников.

Вторая крупная акция по депортации сотрудников Еврейской больницы произошла 10 марта 1943 года. Изначально гестапо хотело в этот день вообще ликвидировать больницу. Но доктору W. Lustig удалось как-то договориться с властями, чтобы больницу не закрывали. Гестапо настаивало на своём и требовало депортировать как минимум 50% персонала. Сценарий повторился: список жертв должен был составить главный врач*. Отобранные к депортации вместе с семьями составили около 300 человек. В мае 1943 года была ликвидирована больница для больных с хроническими заболеваниями; она находилась на Auguststrasse в районе Mitte. Врачи и обслуживающий персонал последовали вместе с больными в концлагерь. 10 июня 1943 года прекратила своё существование еврейская община Берлина. Все евреи, не

* В конце 1945 года W. Lustig, бывший главный врач Еврейской больницы, был расстрелян русскими за пособничество немецким властям

состоявшие в браке с христианками (или христианами), должны были явиться на сборный пункт на Große Hamburger Strasse 26. 16 июня они были отправлены в концлагерь Освенцим. В тот же день всё имущество „Имперского объединения евреев Германии“ было конфисковано. Его оценили в 8 миллионов рейхсмарок. К весне 1944 года, когда „план депортации“ был выполнен, все сборные пункты для евреев, подлежащих депортации, были за ненадобностью расформированы.

После „фабричной акции“ в Еврейскую больницу пришли новые сотрудники. В стационаре лежало около 40 больных. Это были евреи от смешанных браков. Такие больные съезжались в Берлин со всей Германии. Если, не дай бог, партнёр нееврей умирал, то больного по выздоровлению отправляли в концлагерь. Врачей и сестёр в больнице не хватало. Больные получали только таблетки и уколы. Но операции проводились даже в подвале, во время бомбардировок, при свечах. Спектр операций был невелик, только самое необходимое: обработка ран, иммобилизация переломов, иногда операции по поводу аппендицита или ущемлённой грыжи. Насколько возможно соблюдалась стерильность.

После одной из тяжёлых бомбардировок района Wedding в 1944 году в Еврейскую больницу вновь стали поступать немцы. Как только они становились транспортабельными, их переводили в другие больницы города. Некоторые противились переводу, считая, что союзники антигитлеровской коалиции не станут бомбить Еврейскую больницу. Для переливания крови больница располагала только кровью от доноров евреев. Ранним немцам переливали кровь от доноров евреев лишь по особому разрешению высокого начальства.

Первого марта 1944 г. патологоанатомическое отделение Еврейской больницы было конфисковано гестапо, огорожено от остальной территории колючей проволокой и превращено в сборный лагерьный пункт для депортируемых. Сюда попадали те, которые скрывались и которых удалось выследить и схватить; это были люди, ожидавшие суда, а также „неясные“ для гестапо случаи. Обслуживание заключённых возлагалось на главного врача больницы. Из этого сборного пункта было депортировано 394 человека. Последний транспорт с узниками-евреями ушёл в концлагерь Заксенхаузен в марте 1945 года.

Последние 14 дней войны персонал и больные провели в подвале. Тем не менее больница как лечебное учреждение продолжала функционировать. С 21 по 24 апреля 1945 года в больнице были обработаны 4 огнестрельных ранения. Среди раненых было два немца, один русский и один рабочий Еврейской больницы. Последняя рожица разрешилась живой девочкой 14 апреля 1945 года. После этого рукой акушерки в родовом журнале проведена красная черта. Гестапо покинуло больницу за восемь дней до капитуляции Берлина.

В актовом зале Красной ратуши Берлина мне довелось быть только однажды, в октябре 1991, на приёме устроенном правящим бургомистром столицы в честь бывших берлинских евреев, живущих за рубежом. То были люди, чудом пережившие Катастрофу, не пожелавшие после войны остаться в разрушенном городе. Они бежали прочь из страны, причинившей им столько зла, страны, в которой они потеряли родных и близких, страны, в которой прошла их молодость. Они хотели начать жизнь с чистого листа. И вот они снова в родном городе. На сей раз в качестве почётных гостей. Среди собравшихся обращаю внимание на относительно молодую улыбчивую женщину: на вскидку - не более сорока. В руках блокнот, всё время что-то записывает.

Мужчины моего возраста знакомятся с молодыми женщинами легко. Подхожу и спрашиваю: „А вы что здесь делаете?“ Она, ничуть не смутившись: „То же, что и вы“. – „Но позвольте, вы же родились уже после войны“. – „Это не так, я родилась во время войны, в апреле сорок пятого“. – „И где же это произошло?“ – „В Еврейской больнице“. Начинаю вспоминать: в апреле сорок пятого в Еврейской больнице рожала только одна женщина. Её звали Минна и родила она девочку, которую нарекли... „Стало быть вы – Клаудия?“ – „Да, откуда вы знаете?“ – „И жили вы в районе Prenzlauer Berg, на Schunhauser Allee 185“. – „Верно. Но как вы меня вычислили?“ – „Понимаете, я довольно долго занимался изучением истории Еврейской больницы в годы нацизма. Среди сохранившихся документов я обнаружил и родовой журнал за сорок пятый год, в котором обо всём этом можно прочесть“. – „Надо же как интересно, вы вроде бы как присутствовали при моём появлении на свет“. Оказалось, что моя собеседница корреспондент газеты „Вашингтон пост“. Она профессиональный журналист, является автором нескольких книг, в основном на сарейскую тематику. Весь день мы гуляли по Берлину и я рассказывал ей о достопримечательностях города. Съездили мы и на Schunhauser Allee к дому, где она жила со своими родителями. А на следующий день мы встретились в вестибюле Еврейской больницы. История больницы отражена на стендах, которые размещены тут же. Велико было огорчение моей спутницы, не обнаружившей в холлах больницы или во дворе ни памятной доски, ни памятного знака – места, куда люди могли бы прийти и почтить минутой молчания живых и мёртвых врачей и сестёр, нянечек и больных Еврейской больницы – единственного учреждения еврейской общины, пережившей годы нацизма. Она никак не могла определиться с цветами, которые принесла с собой. Как только мы покинули территорию больницы, Клаудия разпернула букет красных роз, оглянулась и, преодолевая некоторое чувство неловкости, положила цветы к чугунной ограде.

РЫБАК

Заметки о художнике

Имя Иссахара Бер РЫБАКА известно лишь некоторым искусствоведом и любителям, интересующимся еврейским национальным искусством первой половины XX века. Жизнь художника продолжалась недолго, всего 38 лет. Его вклад в искусство замечен и неоспорим.

Рыбак родился в Елисаветграде (Кировограде) в 1897 году. До шести лет ребёнок не говорил и единственным его занятием было рисование. Он рисовал всё, что попадалось ему на глаза.

Феноменальная память и цепкое зрение сохранили на всю жизнь типаж, предметы быта, постройки, улицы его детства, что в дальнейшем явилось хорошим подспорьем для создания графических и живописных циклов его работ. Родители Иссахара считались культурными людьми в своей среде. В доме были произведения русской и зарубежной классики, иллюстрированные журналы, ежедневные газеты. Старший его брат в то время учился на врача. В год окончания хедера либеральное земство города открыло вечерние рисовальные курсы, на которых Иссахар приобрёл первые профессиональные навыки, рисуя с гипсов, постановочных натюрморты и выполняя композиции на заданную тему. Ему было тогда десять лет. Первым учителем был Казачинский, выпускник Петербургской Академии художеств. Уже в 1909 году Рыбак начинает работать в артели кустарей-маляров, расписывая деревенские церкви Херсонской губернии. Спустя два года он становится студентом Киевского художественного училища. Однокашник его, Мане-Кац, впоследствии вспоминал: «Рыбак был молод, но уже работал с цветом. Его натюрморт был хорош, в ярких красках и выполнен на одном дыхании. Уже тогда он говорил о еврейском искусстве: «Почему мы не имеем права писать то, что близко нашим сердцам?»».

Преподаватели неодобрительно относились к этому и не принимали его работ, которые он показывал после каникул. Кроме Мане-Каца, студентами училища были Борис Аронсон, Исаак Рабинович, Сарра Шор, Соломон Никритин. Их имена впоследствии составят гордость и основу еврейского искусства XX века. Все они горели желанием возрождения и развития национального искусства, изучая самостоятельно старинные рукописи, росписи синагог, надгробия, кустарные вывески на домах и лавках, вникали в библейские тексты.

Рыбак вместе с художником Эль Лисицким прошёл маршрут экспедиции историко-географического общества, копируя интерьеры синагог. Тогда же им выполнена копия потолка Могилёвской синагоги, расписанной в 1740 году Хаймом бен-Ицхаком Сегалом. Это большой

(64х48см) динамичный картон, акварелированный коричневым, светло-зелёным и красным тонами, передающий знаки Зодиака, опоясанные растительным орнаментом.

В 1916 году Рыбак оканчивает училище и продолжает работать в Киеве вплоть до 1920 года.

Этот период принято называть Ренессансом еврейского искусства. Он посещает провинции, чтобы ближе вникнуть в мир еврейского быта. Пишет картину «Синагога в Шклове». Прописана она коричневыми нервными мазками в сочетании с зеленоватой и красной умброй. Колорит буквально делит архитектуру синагоги. Стены и кровля смещены, словно оседают и вот-вот рухнут, оконные проёмы напоминают опечаленные человеческие взгляды.

После Февральской революции 1917 года идиш становится полноправным языком. Появляются учебники и литературные произведения на идиш. Создаётся еврейская Культур-Лига, издаётся журнал «Шторм». При Лиге работают несколько секций. Рыбак становится руководителем секции изобразительного искусства, в которую входили, кроме перечисленных выше художников, также Н.Шифрин, А.Тышлер, Н.Альтман и Эль Лисицкий. Работы, созданные в годы существования Лиги, определили лицо еврейского искусства. Многие современные художники равняются на эти работы, учатся на них. Рыбак преподавал в художественной студии, он был убеждённым сторонником и апологетом нового национального стиля, в основе которого сочетались элементы народного творчества, примитива с искусством авангарда, прежде всего конструктивизма и кубизма. Это ярко выражено в его картине «Старая синагога».

Этот сюжет он будет неоднократно повторять, углубляя и развивая в нём живописные и композиционные находки. Тёмно-коричневые тона выглядят почти чёрными из-за контраста белых геометрических форм второго плана. Чётко прочерченные линии образуют цилиндрические разномасштабные конструкции.

«Моя деревня» написана уже в тёплой гамме. Даже крыша смягчена золотистой охрой, проложенной крупными мазками. С определённой долей примитива написаны домики с красными кровлями, слева от синагоги и изба с явно человеческим лицом. Ярко и экспрессивно с индивидуально выраженными характеристиками персонажей построена картина «Деревенские музыканты». Поездками в Елисаветград отмечена серия картин на местечковые темы. Наиболее характерной является «Старая пара». На скамье, перед покосившимся домом, старуха в красном, расписном платке поверх чёрной косынки. На переднем плане – неотъемлемый атрибут местечкового быта – коза. Из распахнутого окошка выглядывает старик с книгой. В углу – подсвечник со свечой. Одним словом – типичные серые местечковые будни.

В 1918 году на Украине орудуют банды, регулярно возникают еврейские погромы. Одной из жертв их стал отец художника. Памяти отца он посвятил серию акварелей «Погром», изображая на них тела погибших. Их деформированные фигуры на переднем плане заслоняют фигуры погромщиков с топорами. На нескольких листах интерьеры горящих синагог. Вот раввин в талите с огромной головой, как символ протеста и духовности. Он полон достоинства и нестигаемости, вокруг разбросаны свитки торы, напоминающие раненные жертвы. В листах ощущается боль и негодование самого автора.

В 1919 году Рыбак в соавторстве с Б. Аронсоном публикует в журнале «Ойфганг» («Начало») статью «Пути еврейской живописи». Ей предпослан красноречивый эпиграф: «Да здравствует абстрактная форма, ибо она – национальна». Эту форму авторы представляют как ...«чистую, свободную от натуралистичности и литературности, в выявлении этой формы они видят главную цель искусства. Еврейские художники не должны иметь склонности к фигуративной живописи».

В 1919 году Рыбак водит экскурсии по музеям Москвы, развивая свои идеи и мысли. В 1920 году он вновь в Киеве, готовит выставку еврейских художников. Затем Культур-Лига переезжает в Москву, оттуда Рыбак уезжает в Берлин, где издаёт альбом своих литографий «Местечко. Мой разрушенный дом. Воспоминания» (Verlag «Schwelle», 1923). Этот альбом – своеобразный реквием родному городу. В нём явно прослеживается связь с народным творчеством, примитивом, лубком. Особенно в листах «Резник», «Синагога», «Ребе».

В Берлине Рыбак иллюстрирует детские книги Л. Квитко декоративными элементами в сочетании с животными и растительным орнаментом, встречающиеся в каменной резьбе надгробий и на страницах старинных рукописей.

Он принимает активное участие в художественном объединении «Novembergruppe», в выставках «Сецессиона», в которых преобладают кубистические работы, в основном – натюрморты. В 1923 году в Берлине прошла его персональная выставка, вызвавшая огромный интерес зрителей и художественной критики.

В 1924 году Рыбак издал альбом «Еврейские типы Украины», в котором подтвердил свою верность основной теме и который является ценнейшим документом уходящего времени.

Затем он ненадолго приезжает в Минск по приглашению театра для оформления спектакля по пьесе И.-Л. Переса «На покаянной цепи».

Альбом с гравюрами «На еврейских полях Украины» издан им уже в Париже, где Рыбак поселяется в 1926 году. Один из французских критиков писал о нём: «Искусство было единственным и значимым оправданием его жизни».

За десять лет жизни, оставленных судьбой Рыбаку, он несколько не

отступил от принципов своего творчества и своей темы. В 1928 году состоялась его выставка на Монпарнасе, которая определила ему одно из ведущих мест в художественной жизни Парижа. Он участвует почти во всех художественных выставках наряду с крупными признанными мастерами, которыми Париж всегда был полон.

Продолжая прежние темы, Рыбак вводит элемент лиричности, более мягкой тональности в цветовые решения при выполнении целого ряда портретов, проникает во внутренний мир портретируемых. Особенно это относится к женским портретам. Они деликатны, ненавязчивы при передаче тонких нюансов душевного состояния. В «Портрете жены» – женственный романтичный, полный достоинства образ. В «Невесте» – юная хрупкая девушка, укутанная голубой фатой с робким, немного лукавым взглядом.

Последние несколько лет своей жизни художник занимался также скульптурой. Им выполнена серия народных типов: «Скрипач», «Танец», «Продавец птиц» и другие.

В 1934 году по заказу Интернационального архива танца он выполняет в керамике серию на темы еврейских танцев. Они передают пластические движения с характерными жестами, полны лёгкой доброй иронии и этнографически точны.

В 1935 году состоялась выставка работ Рыбака в обществе искусств при Кембриджском университете, на которой несколькими музеями и частными коллекционерами приобретен ряд его работ. К сожалению, выставка оказалась последней прижизненной. 6 мая 1935 года Рыбак умер от преследовавшего его всю жизнь туберкулёза. Талант его к этому времени достиг наивысшего признания. Ещё несколько выставок состоялись уже посмертно в городах Европы и США. В Израиле, в городе Бат-Яме, находится музей Иссахара Бер РЫБАКА.

МНОГОСЛОЙНЫЙ ЗНАК*)

Поиски новой науки о знании

Др.: Жак Деррида, основатель новой философской школы 20 века, считал плодотворным поиск противоречий. В литературе этот метод получил название деконструкция. Деррида считал, что он проанализировал многие литературные произведения и саму нашу мысль.

Предшественники считали, что письмо вторично по сравнению с речью, а Деррида считает, что письмо так же важно, как и речь. Деррида говорит: вся наука предполагает, что есть какой-то центр, а на самом деле его нет, а есть свободная игра — комбинаторика. Она опирается на книгу Леви-Стросса, который исследовал индейцев Америки, их мифы, легенды. Поскольку мифы имеют свободу комбинирования, то и его книга, говорил Леви-Стросс, будет не научным исследованием — она сама будет своей мифологией, будет произведением искусства. Деррида добавляет, что искусство, как инженерный проект, выстроено из отдельных букв, а миф создан путем бриколажа.

Мнения о Дерриде разные. Лингвист Ноам Хомский говорил: "Когда я читаю статьи по физике или математике, я их тоже не понимаю, но знаю, что можно приложить усилия и это сделать. Я могу спросить коллег и они на моем уровне объяснят. Но с деконструкцией это у меня никогда не получалось". Хомский и Якобсон работали в MIT. Что делать там лингвистам? Там занимаются искусственным интеллектом, значит, фонология нужна, распознавание речи. Соссюр тоже там работал, это он первый придумал *signifié* и *signified*.

Вернемся к Дерриде. Вывод Дерриды: центра нет и поэтому мы находимся в состоянии революции философии, и неизвестно, будет ли она называться "философия". Философия будет в виде мифа, она не будет иметь научную природу.

Это постструктурализм. С его точки зрения, структурализм исходил из понятия центра объекта, с которого структура наращивается. Но он явно не знает, что в логике Гёделя всегда можно добавить высказывание, которое не будет ни истинным, ни ложным — и, таким образом, будет много высказываний, которые будут истинными, но это нельзя доказать. Кроме того он не знает, что есть понятия, которые ссылаются сами на себя — например, множество всех множеств является ли оно своим элементом? Долго дискутировали, пока не согласились, что это

*) Глава из готовящейся к публикации книги "Сложность и гармония русской поэтической речи".

Диалог Андре Бройдо (Др.) и Яны Кутин (Дж.) дается в сокращении

неверное употребление языка – множество всех множеств не является множеством. Иначе получается парадокс, который обычно иллюстрируется на таком примере: получен приказ брить тех солдат, которые сами не бреются. Парикмахер (солдат) не знает, как с самим собой поступить: если он сам себя бреет, то значит он сам бреется, и значит не принадлежит к тем солдатам, которых он должен брить. А если он себя не бреет, то он принадлежит к солдатам, которые не бреются, и в соответствии с приказом должен себя брить.

Приказ вроде логичный. Вот видим, что на ровном месте возникают противоречия, не надо для этого лезть в этнографию. В обоих случаях парадокс возникает из-за того, что понятие ссылается само на себя.

Математики давно разобрались с этим, они говорят, что это терминологическая ошибка – нельзя считать это образование множеством, его называют классом или категорией. А литературоведы до сих пор путаются, потому что их в детстве не учили логике. Нам это в 6-ом классе рассказывали. А им это в Сорбонне или в Эколь Нормаль не сказали.

Литературоведы ладно, а философы должны бы знать. PhD значит философии доктор, я вот, например, лицензиат философии, мне в Швеции выдали лицензию на философствование. Философия – наука всех наук, и философы, которые считают себя профессионалами, должны знать основы математической логики и физики. Я думаю, что даже философствующему литературоведу надо знать логику, хотя бы на уровне азов, парадоксов, читать детские книжки с картинками по физике.

Дж.: Ну а Лотман? Якобсон?

Др.: Лотман? Наверное, все же немножко знал, во всяком случае, он знал больше, чем Деррида, и, кроме того, у него не было такого замаха – всю науку поставить с ног на голову. Деррида пришел и сказал – у вас тут везде противоречия, и потому в философии должна быть революция, иначе не получается никакого знания. Якобсон тоже не претендовал на то, чтобы все уложить в одну схему. Якобсон, кстати, и у Маяковского упоминается: у него Нетте “напролет болтал о Ромке Якобсоне” – таким образом, не только он, но и Нетте знал Якобсона.

Деррида не знает афинного пространства, теории групп. Под действием группы можно передвинуть все точки, поэтому в пространстве, где транзитивно действует группа, тоже не может быть центра, поскольку все точки равноправны. Единственно что интересного про деконструкцию можно сказать, что она в политическом отношении не относится ни к левым, ни к правым. Но вообще деконструкция – самый удобный способ дискредитировать текст, не аргументируя, не споря с ним, с его положениями по существу.

Дж.: Были еще фракталы.

Др.: Фракталы – общая теория всего, но применительно к природе. А деконструкция задумана применительно к философии, к литературе, может, с натяжками, – ко всей культуре. В теории фракталов присутствует много шкал и все одинаково. А деконструкция – это когда находят внутренние противоречия в тексте, противоречия в логике. Америка признала работы Дерриды в 1967 году. В целом людям нравится, что в том, чего они не понимают, есть противоречия. И после этого возникла Йельская школа его последователей и они исследуют литературу с точки зрения деконструкции, то есть, какие противоречия в ней содержатся. Главное противоречие, на мой взгляд, – люди, которые знают математику, в философию не идут.

“Имеется две интерпретации интерпретации, структуры, знака и свободной игры. Одна пытается расшифровать, мечтает о расшифровке истины или источника, которые свободны от свободной игры и от порядка знаков, и проживает необходимость интерпретации как изгнание. Другая, которая уже не поворачивается к источнику, утверждает свободную игру и пытается миновать человека и гуманизм, где имя “человек” это имя того существа, которое на протяжении истории метафизики или онтологий – иными словами, через историю всей своей истории – мечтало о полном присутствии, убедительном основании, исходной точке и конце игры. Вторая интерпретация интерпретации, к которой Ницше показал нам путь, не ищет в этнографии, как хотел Леви-Стросс, “вдохновение нового гуманизма”” (Derrida 1967).

Дж. Он это у Леви-Стросса взял?

Др. Да, но Леви-Стросс не на словах по фене ботал, Леви-Стросс действительно там был, в тех местах, где непонятно, есть названия у вещей или нет – представь язык дикарей, в нем число понятий очень ограничено – медведь, нога... – ни одного слова из языка этой статьи там нет, или если есть, то имеют они совсем примитивные значения, самые базовые.

Деррида задумался, явился ли наш язык мгновенно или постепенно – и он говорит, что мгновенно. Конечно, Леви-Стросс понимал, что нет, не мгновенно, – но для Дерриды это уже повод, Деррида, действительно, на словах по фене ботает, и он выучил эти слова у Леви-Стросса, Ницше и других.

Видишь, литературоведы должны изысканно выражаться, каждая фраза должна иметь другую грамматику. В научной статье же не скажешь “проживает необходимость”, но поскольку это литературоведение, то в нем надо действовать средствами литературы, то есть метафоры должны быть. Хотя обычно, конечно, посуше бывает литературоведение, чем литература. Поэтому так и говорят – не пошла у него проза, он пошел в критики.

Один из тезисов этой статьи, что наука должна быть как поэзия, поэтому ты скажешь, что ненаучно, но он свободно комбинирует, как Леви-Стросс сказал, что его книга мифов будет мифологией. Это постмодернизм – и наука приобретает такие черты, что ее не отличишь от поэзии. Он поднимает на щит мифологию Леви-Стросса, который говорит, что книга не научная, а мифология мифологий. Разница в том, что Леви-Стросс сам ездил в Бразилию, начал с этого свою карьеру в 30-ые годы. Закончил Сорбонну и поехал в Бразилию. Вернулся во Францию, но тут ее заняли немцы, и он с большим трудом вырвался в Америку. Так что Леви-Стросс сам все это прошел и испытал, а у Дерриды только отражение.

Не надо сосредотачиваться на одной работе, надо читать еще другие. Деррида говорит, что нет у вещей центра, так что и тебе не надо сосредотачиваться на одной работе. Я думаю, так дело произошло – он ведь жил в Алжире до 18 лет, математике и физике там не учили. Он начинает читать Хайдеггера и Ницше. Видимо, он так решил – в философии сильнее всего немцы, а в литературе – французы. Точные науки у него не шли в школе, а литература с его печетким складом ума шла – потом в литературе больше противоречий, теорему Пифагора же не критикуешь – вот он и занялся критикой литературы.

Дж.: Как из Дерриды вырос постмодернизм? Интересно, что в России его подхватили.

Др.: Они всегда ладки на любые спекулятивные теории и утверждения. На западное и на то, что ниспровергает. Это же удобно – не надо те же достижения, на Западе достигнутые, повторять, потому что их уже ниспровергли. Тот же капитализм.

Интересно, что еще Секст Эмпирик написал “Трактат против ученых”. В нем говорилось: Считается, что наука может существовать только, когда есть предмет, есть школа, есть учителя и есть ученики. Но я докажу, что ничего этого нет. И дальше по частям в большом трактате по отдельности разбирает все эти вопросы.

Дерриду люди любят, потому что он литературу привязал к философии. При этом этих философов немного: Гегель, Ницше и Хайдеггер. Но все эти противоречия не очень глубоки. Во всяком случае до сих пор я не встречал указания на самое глубокое противоречие – самореферентность. Ну как можно описать язык с помощью самого языка? Как можно это сделать, ведь это получается – змея кусает себя за хвост – уже древние ставили этот вопрос. И то же самое – мы описываем язык с помощью самого языка – эти понятия могут не подходить, не будут достаточно точно определены, могут иметь достаточно много смыслов и могут относиться к самим себе. Вот понятие “существительное” – ведь это слово тоже является существительным. Но когда такие самореферентные понятия присутствуют в дискурсе (совокупности выска-

зываний), тогда два шага до парадокса парикмахера.

За что Дерриду любят? Вероятно литературоведы, которые никогда не читали Гегеля и Хайдеггера, ценят его за то, что он с помощью нарочито усложненных отсылок, оперирует понятиями из книг, в которых они ничего не понимают или недостаточно глубоко разбираются.

Дж.: Значит, любят Дерриду за то, что он дал новую почву для научных спекуляций?

Др.: Да, можно сослаться на его туманные высказывания – простора намного больше, чем у людей, на которых он опирается.

В поисках противоречий

Др.: Гёдель доказал свою теорему о неполноте, что нельзя все аксиомы собрать вместе, в 30-ые годы, пользуясь нумерацией утверждений. В наше время это никого не удивляет. Программы можно занумеровать (программа – это двоичный код, его можно интерпретировать как целое число). Гёдель имел в виду рекурсивные функции или алгоритмы. Это был, конечно, очень неординарный ход мыслей. Тем самым теория алгоритмов превратилась в арифметику. Утверждения о программах можно перевести в утверждения о целых числах. Таким образом, можно доказать, что вся алгоритмическая математика сводится к теории чисел или, наоборот, теория чисел содержит всю математику.

Мы обычно не думаем в таких терминах, потому что если преобразовать утверждение в число, то это будут такие большие числа, с которыми человеку и даже компьютеру будет трудно оперировать. То есть, это чисто формальное сведение, смысл его реально таков, что теория чисел сама по себе имеет бесконечную глубину, как и математика в целом. Но это очень не строгое утверждение, потому что мы не умеем измерять глубину теории. И в частности, поэтому компьютеры должны делать больше операций, чем предусмотрено теорией чисел.

Дж.: Ну, а какие противоречия есть в блатной песне?

Др.: Противоречие: какой группе людей служить. Служить власти или служить своей компании. Воровать или не воровать. Это трагедия блатного героя, он знает, что воровать плохо – он попадет в тюрьму, но и не воровать невозможно.

Например, песня, которая начинается словами:

Не губите молодость, ребяташки,
Не роняйте свой авторитет,
Помните заветы родной матушки,
Не влюбляйтесь в девок с юных лет.

Эта песня не может уберечь никого, чтоб они влюблялись в девок с юных лет. Потому что, во-первых, это закон природы, который песней

никак не отменишь, а во-вторых, сам герой песни влюбляется в девушку юных лет. Можно только путем растяжения смысла сказать, что песня на словах рекомендует не влюбляться, а на самом деле рекомендует, влюбляясь, не ронять свой авторитет.

Дж.: Значит, можно разделить людей на группы по противоречиям, которые у них возникают.

Др.: Когда приходишь на представление, тоже надо понять, какие в нем противоречия. Первое противоречие: люди могли бы читать стихи, но нуждаются в помощи чтецов, как мы только что одного видели. Так же, как люди могли бы читать книги, но предпочитают разные шоу.

Дж.: Переваривное.

Др.: Интерпретацию.

Второе противоречие, людям надо общаться, а поводов нет: религию они утеряли, по поводу религии они не могут собраться. Вместо службы религиозной у них поэз, и половину речи, как и на религиозной службе, у них занимают объявления и воспитание, проповедь. На религиозных тоже половину поют, половину проповедуют и обсуждают какой-то вопрос (главу из Торы) с выходом на сегодняшний день – так у нас обычно делается. Так что люди пытаются воссоздать эту ситуацию, которая у них в генах сидит – но выхода нет, потому что религия для них является чуждой.

В этом месте надо опять сослаться на Ломакса, который говорил, что музыка выражает единство коллектива. На Дерриду того же надо сослаться, потому что присутствует как поэзия, так и ее анализ, и тоже выполнено в “артистической” форме – с разного рода жестами, с упором глаз на аудиторию. Так как в обычный день люди не входят в этот дом, все это их возвышает, дает им некоторый момент катарсиса.

Третье противоречие: поэты не очень хорошо читают свои стихи.

Дж.: Он тоже, он просто Смехач.

Др.: Он высоко залетел, работал в театре на Таганке. А все выдающиеся люди работают с таким перенапряжением, что они или умирают или их убивает власть. Человека, который доносит до нас их веяние, уже надо ценить – передача информации как-то идет.

Дж.: Фактически, он надсмеивается над поэзией – то, что они старались передать миру как правду сердца, он выставляет в шутовском виде.

Др.: Поклонение всегда включало в себя возможность надругательства над кумирами и в известных случаях само оно – надругательство. Потому что люди, которые склонны сильно поклоняться, они же склонны сильно разочаровываться. Борис Успенский говорил, что в русском календаре были дни, в которые полагалось вести себя противоположным образом – непотребным образом.

Вот как царю Алексею Михайловичу доносят: “Срамные удеса п лицах посяще” (одевают непристойные маски во время карнавала).

Тот самый Алексей Михайлович в середине 17-го века говорил “Делу время и потехе час”, что впоследствии интерпретировали под другим углом. В его выражении подразумевается, что потехе тоже должен быть час. Час и время в славянских языках очень близки по смыслу, по-польски “час” так и есть время. Так что, с точки зрения тогдашней речи, это означает половина на половину. Или час мог значить “пора”, например, по-нашему, делу восемь часов, а потехе – один. А мы теперь воспринимаем это, как высказывание, обращенное к тем, кто не хочет работать. А он призывал не только работать.

Подшучивать над предметами поклонения не так плохо, и во многих религиях это практикуется. В иудаизме например, есть много песенок, я помню одну:

Вечерняя служба начинается с песни “Леха доди ликрат кала”, то есть, “Выходи, друг, навстречу невесте”. А после службы, уже когда поели, поют – у студентов в песеннике есть такая песня – точно слов не помню, примерно так, на идиш:

Ich will singen lecha dodi
Sollst du singen чири-бири-бим
Ich will singen likrat kala
Sollst du singen чири-бири-бом
Чири бим чири бом чири бим чири бом
Чири бим бом бом бом бом

А потом:

Ай чири бири-бири-бим-бом-бом (4 раза).

Потешаются над началом молитвы субботней. Фактически, утверждается, что начало субботней молитвы, важный очень момент, такая же абракадабра, как “чири бим бом”.

Песни это знаки состояний. Молитва, в частности, это знак общения со Всевышним, чтобы Всевышний обратил на него внимание.

Это часть богослужения, в составе которой у нас в студенческом обществе молитва, ужин, общение. Потом молитва после еды – благодарение, и после этого они поют песенки, на иврите, в основном, но эта – смесь идиш и иврита.

Фактически, они тоже выражают благодарность Всевышнему за все вместе - и за прожитую неделю, и за то, что они хорошо провели этот вечер, и просто, что хорошее настроение и они рады друг другу. А если придешь к ортодоксам, то вообще попадешь на Украину, потому что там во время основной молитвы водят хороводы и пляшут вприсядку. Эти ортодоксы чувствуют себя хасидами, но к ним приходит настоящий раввин из настоящей синагоги - он из Гомеля, учился в Канаде – вот он пляшет вприсядку, такой ортодоксальный хасид.

Есть поговорка “Судьба – индейка, а жизнь – копейка”. Кузьма Прутков спрашивает, почему сравнивают судьбу с индейкой, а не с какой-нибудь другой, более похожей птицей?

Еще есть: “Его дочь от тоски и разлуки под машину легла головой”.

Или: “Машина мчится, колесики стучат”.

Машина была паровоз, а у нас машина это компьютер. Интересно, что в слове “машинист” еще осталось то значение, ни про автомобилиста, ни про оператора компьютеров так не говорят.

В компьютерных сетях по определению все знаки многослойны и этому есть специальное название. Называется оно “лейеринг” от слова “layer” – слой.

Но интересно не только это, а и то, что в программировании есть многослойные знаки, а именно имена объектов, выражающиеся их адресами.

В машинном коде существуют также литералы – числа и символы, которые вписываются непосредственно в код команды. Но в программе мы имеем дело не только с адресами, а с адресами адресов и с адресами адресов адресов. Я это к тому говорю, что в принципе имена имен попадают в жизни на каждом шагу – знаки знаков – и теория, которая этому не учит, не полна.

То есть, человечество занято конструированием интерфейсов, интерфейсы эти рекуррентны, понятия с меньшей длиной описания являются именами для понятий с большей сложностью содержания. Описания сокращаются, а смысл опять усложняется, потому что за простым описанием скрываются весьма сложные объекты.

Ты кликаешь на какой-то линк, на website, с твоей точки зрения, задействован один бит информации, ну, может, несколько – выбрать линк и ударить по нему – в ответ на этот клик браузер исполняет код из миллионов команд, который присылает website на твой компьютер.

Многослойные знаки везде есть, и в лингвистике, и в программировании, и в передаче данных. То, что называется знаком, у нас называется интерфейсом или лейером.

Кузьма Прутков рассуждает в каком-то смысле о том же, потому что он спрашивает, почему для смысла “судьба” обозначающим является “индейка”.

Вместо нецензурных слов употребляются знаки нецензурных слов. Все эвфемизмы так работают – дают нецензурным словам контекстно-зависимые имена (метафоры, как в поэзии). Например, “скоммуниздили” – вместо нецензурного слова выступит похожее на него слово, как его имя.

Дж.: Появились компьютеры, ухудшилась память. Раньше память у людей лучше была. Ну, фольклор, или вот Даль.

Др.: В прежние годы люди помнили все былины, наверное, 100 тысяч строк, вот и Даль помнил все свои слова. 100 тысяч строк это 2000 страниц, я могу представить, что это можно запомнить. При том, что этот человек, может быть, раз в неделю их исполнял, эти былины.

Память ухудшилась потому, что все в компьютере лежит. Я вот раньше спокойно ряды Тейлора любых элементарных функций в уме считал, а теперь в любой момент я могу подойти к ноутбуку и, набрав несколько клавиш, получить этот log или sin. Соответственно, когда я рассказываю студентам преобразование Фурье для гауссовского распределения, я уже могу сделать в выводе ошибку. Раньше я бы не мог себе это представить, это было бы низшей степенью профессионального падения как математика – в вычислении, которое выделяет полный квадрат в алгебраическом выражении, допустить ошибку.

В действительности ничего не стоит в человека вживить чип, который воспринимал бы нервные сигналы – чтобы человеческие нервы сами подключались к компьютеру и без акустического сигнала, без тактильного сигнала (нажатия клавиш) – сами бы задавали компьютеру какие-то вопросы. Сейчас мы преобразуем этот сигнал, который нервы должны донести до окончания пальцев, или нервы должны донести до этих фарингосов и ларингосов, и тогда все эти преобразования можно сократить. И тогда все рассуждения Соссюра и Якобсона повиснут в воздухе, потому что в языке будут преобладать в качестве средства передачи информации не фонетика, не графика, а будут эти импульсы, которые из человеческого тела уходят прямо в Интернет.

Дж.: Но это будет уже не человек.

Др.: Нет, это будет человек. Конечно, с точки зрения дикарей, какой-нибудь бледнолицый европеец это тоже полубог. Это будет такой же человек, но его технические возможности будут больше. Сейчас ты стучишь на компьютере, тогда ты оденешь какие-то перчатки, и из этой перчатки все твои мысли пойдут в Интернет. Тогда не будут нужны книги, будет библиотека мыслей, и человек с человеком не будут акустически разговаривать, а только с помощью мыслей. В песне “Электричество” это же поется: “И через Тихий Великий океан еь мы будем по электропроводам”.

Дж.: Тогда все ФБР будут знать мысли другого человека, они имменно этого и хотят.

Др.: Нет, у нас сейчас есть техническое кодирование, и я могу опубликовать свой публичный ключ, но не частный. Криптография подводит нас к вопросу – что является обозначаемым и что обозначающим?

В криптографии есть свои понятия: cipher-текст и plain-текст, они как бы играют роли signified и signifier в соссюровском смысле. Ну, ес-

тестивно, у Соссюра plain-текст является signifier-ом своего смысла, а с точки зрения криптографии это – signified, обозначает мое.

Криптографические алгоритмы преобразовывают plain-текст в cipher-текст по много стадий. То, что с точки зрения Соссюра является двоичной оппозицией, в реальности распадается в длинную цепочку преобразований, и каждое преобразование можно трактовать как переход от signified к signifier.

Дж.: Тебе скажут, что Кант и Гегель придумывали свою теорию о знаке, исходя из человеческого сознания, для человека, а не для техники, устройство которой всегда многоступенчато. И для человеческого сознания не физиологически, не по органам. Там можно рассматривать переходы из визуального сигнала в электрический или нервный, связи между нейронами, между нейронами и мускулами. Они рассматривали отстраненно, не вдаваясь в такие частности, которые являются предметом физиологии или техники.

Signifier и signified

Др.: Деррида, в известном смысле прав, что внимание Соссюра и Якобсона к устной речи сильно преувеличено. Потому что письменная речь может быть столь же важна – для существования языка, для коммуникаций между людьми – как и устная.

С точки зрения Соссюра, письменная запись является знаком устной, а устная является знаком смысла. Таким образом, он говорит, что письменная речь является знаком знака (то есть, призраком смысла, удаленного на два шага от смысла). С его точки зрения, изначальным является смысл (обозначаемое или по-английски signified), а обозначающее (signifier) – это просто некоторый интерфейс.

Интересно, что Деррида живет в мире, приближающемся к компьютерной технике и потому обращает большее внимание на письменный язык. Ведь письменный язык более высокотехнологичный – он и создается с помощью технологий – например, тебе, чтобы записать мысль, нужны перо, чернила и бумага. Или лаптоп. А чтобы высказать свои мысли, ничего этого не надо. Кроме того, Деррида уже осведомлен о работах Шеннона. Якобсон жил одновременно с Найквистом, который показал, что функцию, аналоговый сигнал, можно сохранить в виде ее отсчетов, взятых в изолированных точках. Мы это изучали как теорему Котельникова.

Но понятия информации в сегодняшнем виде все же еще не было. Ведь статистическое – не семантическое – понятие информации основывается на энтропии, а энтропия измеряет то, насколько неожиданными являются разные сообщения. Так вот, Деррида, несмотря на свою отстраненность от этого мира, какие-то влияния из него улавливает. А Якобсон и Соссюр могут пользоваться только достижениями своего

времени.

Но меня удивляет другой момент: и Якобсон и Соссюр – профессора-лингвисты, и тем не менее они не замечают, что в китайском языке система обозначений является общей для нескольких взаимно непонимаемых диалектов. То есть, налицо явно ситуация, в которой язык – не какие-нибудь правила дорожного регулирования, а полноценный развитый язык – существует только в письменной форме. Например, знак для чая на севере страны произносился “ча”, а на юге – “тее”. И потому те части света, которые получили его из Северного Китая, говорят “чай”, а которые из Южного – “тее”.

Следовательно, опять обращаясь к мыслям Дерриды, имеем налицо факт европоцентризма. Лингвисты, рассуждая о том, что надо считать основным для изучения в языке – графическую или акустическую его сторону – явно имеют в виду европейскую реальность, где соответствие между графикой и фонетическим образом ближе.

Соссюр ввел все эти понятия, которыми мы пользуемся, этого не замечая – типа *signifier* и *signified*, обозначающее и обозначаемое, то есть знак и смысл. Но, фактически, они жили в то время, когда еще не понимали, что информация может существовать в десятках разных форм, а не в двух формах. Что в цепочке этих преобразований каждый следующий является обозначающим (*signifier*-ом) для предыдущего. Например, формула $E=mc^2$ используется во всех ситуациях, когда надо отослать к физике – на обложке книги помещают или эту формулу или портрет Эйнштейна.

Соссюр пишет, что разные знаки в разных языках могут только частично соответствовать друг другу, поэтому (Якобсон тоже это отмечает) нет универсального смысла, универсальных элементов смысла, которые в разных языках выражались бы по-разному, но в основе своей были бы эквивалентами смысла. Поль де Ман дает пример: хлеб и вино, по-немецки *Brot und Wein* соответствует *pain et vin* во французском, но смысл этих выражений различается, потому что первое может ассоциироваться с обрядом причастия, а второе с бесплатной едой, которую не включают в счет даже в дешевых ресторанах. То есть, формально две эти пары находятся во взаимнооднозначном соответствии, а фактически ассоциации вызывают совершенно разные.

Дж.: Сейчас графика стала очень развитой. Не только графика – основы комбинаторики, нотной грамоты, музыки, больше стало поэтов, больше художников – почему? Дело в повышении образования или в информации дело?

Др.: Просто с информацией стало легче работать, она препратилась в *commodity* – это такой ходовой товар, который продается в любых количествах, не ограничено ни с какой стороны, такой товар – можно купить и много и немного, нет никакого ограничения – как молоко,

бензин, хлеб. Так и информация стала одной из таких commodities, поскольку все с ней работают.

Дж.: Это очень интересно. Действительно, распространены ведь маленькие лавочки, где торгуют тем, что нужно ежедневно, и сейчас появились такие же лавки для продажи информации: e-мейлы, Интернет, wireless разливают как молоко.

Др.: Еще интересно, что у них все существует в рамках двичной оппозиции. Они оперируют понятиями: обозначаемое и обозначающее, не замечая того, что обычно имеются длинные цепочки signifier-ов, которые доносят это обозначаемое, signified, смысл, до конечного адреса та

Вообще любой графический образ может превращаться в общий знак. Например, все мы знаем символ атомного взрыва, а покажи его человеку в 30-ые годы, он бы не испугался.

Дж.: В Берлине про Западную Германию говорят Deutschland, а про восточную – Ost, хотя она кругом, – знаки, оставшиеся от времен блокады Берлина.

Др.: Вот это и есть то, про что говорит Соссюр – что во всех странах это одно, а у вас это немного другое. Считается, что Соссюр заложил основы. На самом деле, основы заложил американец Персе. Соссюр ссылается на другого американского лингвиста – Двайт Витни (Whitney), что он сказал первый, что язык пользуется акустическими знаками, исходя из удобства человеческого организма, а мог бы состоять из визуальных знаков или каких-то других. Ведь слепые читают книги с помощью осязаемых знаков, а глухие – с помощью sign language (знаковый язык). У нас на туалетах написано по азбуке Брайля, и в лифтах тоже часто используется азбука Брайля. American sign language – многие берут курс такой. Ради разнообразия, это такое требование: diversity – разнообразие. Некоторые колледжи требуют, чтобы студенты изучали разнообразные науки, а не только свою специальность.

Дж.: Еще сокращения в языке, я вот записываю, у меня своя стенографическая запись, а еще есть аббревиатуры.

Др.: Да, действительно, они как-то не замечают или обходят стороной, что в каждом языке имеется большое количество знаков, обозначающих другие знаки, и эти цепочки имеют тенденцию продлеваться до бесконечности.

Ну вот, пользуются какой-то аббревиатурой в языке и по мере того, как эта аббревиатура, я имею в виду сочетание первых букв или даже сокращенное словосложение, как модем (модулятор/демодулятор), начинает распространяться, она тоже вступает в такие отношения – то есть, в такое словообразование, где она будет участвовать только одной буквой, например, CM (cable modem). Ну и дальше из CM могут возникать еще какие-то аббревиатуры – то есть нет ничего, что бы ос-

становило этот процесс. И тут тоже возникает вопрос, можно ли к этому подойти с точки зрения дихотомии: обозначаемое-обозначающее? То есть, к чему относится СМ – является ли оно знаком словосочетания cable modem или знаком физического устройства? А если первое, то является ли модем в этом сочетании знаком физического объекта или знаком сочетания модулятор-демодулятор?

На самом деле ситуация намного сложнее, чем я ее только что обрисовал. Потому что у модема, если выражаться в средневековых категориях, есть тело и душа. Душой модема является протокол, с помощью которого он общается с модемом на противоположном конце линии, но в составе этой души тоже можно различить около десятка разных уровней, или, как в каббале говорят, сфирот.

То есть, скажем, напряжение сигнала, который он должен посылать; полоса частот, в пределах которой он должен держаться; сигналы, которые он посылает, должны иметь определенную форму, то есть напряжение в них должно меняться определенным образом, чтобы сигналы можно было опознать как нули или единицы.

При передаче от отправителя к получателю информация преобразуется колоссальное количество раз. Раньше таких длинных цепочек переработки информации не было. Например, при передаче по Интернету каждый следующий роутер преобразовывает сигнал в совсем другую форму: он может преобразовывать электрический цифровой сигнал в оптический цифровой сигнал при переходе от электрического кабеля к оптическому кабелю. При этом действующее преобразование содержит в себе элементы транслитерации и перевода. Перевод состоит в том, что на оптическом кабеле используется другой протокол и, соответственно, данные надо будет перевести в формат этого протокола – это и транслитерация и перевод, в зависимости от того, как мы рассматриваем. То есть, нельзя поставить в однозначное соответствие оптический и электрический сигнал.

Фактически, имеются очень длинные цепочки обозначаемых и обозначающих, а к нам на экран приходят слова и мы можем не задумываться, что эти слова являются образами (обозначаемым) каких-то битов, принятых нашим компьютером – тех битов, которые получились путем длинной цепочки переводов.

Я хочу сказать, что в этой ситуации трудно говорить об одном обозначаемом и одном обозначающем, потому что цепочки такие длинные – происходит не одиночный акт перевода, а приближается к непрерывному преобразованию, и что является смыслом чего, уже невозможно установить.

У них та же проблема. Якобсон критикует фонетистов за то, что они развивали фонетику на основе артикуляции, но поскольку рентгена в те времена не было, пишет Якобсон, то и артикуляция, с их точки зре-

ния, понималась, как артикуляция ротовая -- ни глоточной, ни легочной артикуляции быть не могло (это, видимо, трахейная и бронховая). Исходили они из того, — пишет Якобсон — что должно быть взаимодозначное соответствие между артикуляцией и фонемами, и называли эти фонемы переднеязычными, губными, зубными, нёбными.

Он отмечает, конечно, что почти во всех наречиях язык как орган и язык как система коммуникации обозначается одним словом, в то время, как — он цитирует сочинение 17-го века, которое называется аглотостомография — описывается случай французского юноши, у которого не было языка и при этом он говорил без малейшего акцента, то есть все звуки, которыми мы пользуемся, можно артикулировать совсем в других местах, оставаясь совершенно понятным.

Та же проблема: внутренний смысл доносится акустическим сигналом, а акустический сигнал производится путем артикуляции и еще каких-то внутренних протоколов, которые мы просто не можем наблюдать.

Дж. А то, что он хочет сказать — откуда рождается это понятие?

Др.: Оно отражает наработанное человечеством. И здесь в дополнение к Якобсону я скажу, что то, что человек хочет сказать, уже зависит от возможных вариантов существующих в этом обществе. Якобсон приводит в пример одного филолога, который работал над литературным манускриптом с фонетической точки зрения, а когда его спросили — ну, о чем был этот манускрипт? — он смущенно сказал — извините, на это я не обратил внимания. Соссюр, в частности, говорит о словах, которыми мы пользуемся — общества нагиба-тывают в словах разные смыслы, которыми потом пользуются другие общества.

Дж.: Вот русский язык имел только одно значение слова Клинское — Клинское шоссе, а теперь так называют пиво.

Др.: И другие языки могут заимствовать это слово в этом значении. И слово будвайзер (тоже пиво) было когда-то фамилией. Или форт — по-английски брод (у меня с ним однокоренная фамилия) превратился в фамилию, а потом превратился в автомобиль. Форд во всем мире обозначает автомобиль, он уже не обозначает ни фамилии, ни брод (переход на реке), а только автомобиль. И естественно со временем эти значения меняются.

То же самое графические символы. Вот ОК — наше сокращение знаменитое. Оно ведь обозначает “all correct”, и должно бы писаться “АС”, а пишется “ОК”, потому что неграмотный матрос написал так своим родителям. Значит, оно было сделано на основе упрощения, но теперь вошло во все языки, хотя если посмотреть в его основу, это просто малограмотное сокращение. Это тоже знак знака, но графический знак графического знака, созданный в графической области. При этом и обозначаемое и обозначающее являются графическими знаками.

Мне кажется, что никто из основных лингвистов не фокусирует внимания, что язык уже содержит метаязык. Только философ литературы Поль де Ман упоминает это в одной из лекций.

Например, рассмотрим русские энклитики. С точки зрения любого человека, это просто засоряющие речь нецензурные слова, но для человека, который ими пользуется, они играют роль разделителей, которые сегментируют речь. Обычная энклитика “*бы*” используется для деления речи на слова, энклитика “*ни*” – для деления речи на фразы, состоящие из нескольких слов.

Строго говоря, такого закрепления может не быть, и разные люди могут использовать их по-разному, но общее русское употребление тяготеет к такой схеме.

Дж. Почему им не хватает общего языка?

Др.: Потому что у них нечеткое произношение, соответственно, им нужны эти разделяющие знаки, которые похожи на разделители фреймов (в Сонет и других технологиях). Эти энклитики не являются бранью – это нормальное, невозбужденное состояние их языка, они употребляются в нейтральном стиле речи.

Брань тоже присутствует, брань может тоже участвовать в возбужденном состоянии речи, но в качестве бранных слов русский человек не всегда употребляет нецензурные слова. Могут употребляться слова, обозначающие сексуальные объекты, но не из обычного набора нецензурных слов.

Например, “*педераст*” или “*петух*” будут страшные ругательства, хотя они не являются нецензурными. Не оттого, что те стерлись. Не оттого – а оттого, что они соотносятся с определенными социальными отношениями. Или “*козел*” тоже может быть очень сильным ругательством, хотя обозначает не сексуальный объект, а человека, который сотрудничает с администрацией лагеря.

Я, наверное, говорил, что выражение “*ни*” может восприниматься не как энклитика, а в буквальном смысле, как, например, выражение: “или *ни* оденут или на нож”. Или пырнут ножом или опедерастят – превращают в пассивный сексуальный объект. Например, не отдал карточный долг или что-то сделал, что не соответствует воровской чести, за это есть два наказания – такое стандартное выражение, чем можно человеку угрожать.

Знак и смысл – фактически наличие знаков позволяет оперировать знаками, не переходя к смыслу. Многие операции которые мы делаем со знаками не предполагают понимания знаков, например переписывать рукописный текст. И можно предположить, что большая часть энергии (во всех смыслах), которую мы затрачиваем на работу с языком, уходит на комбинаторное оперирование знаками, без учета их смысла.

Литература:

- Structure, Sign, and Play in the Discourse of the Human Sciences/ Jacques Derrida, Writing and Difference, trans/ Alan Bass/ London, Routledge
A Taste for the Secret. Jacques Derrida and Maurizio Ferraris. Polity
Jacques Derrida. Ethics, Institutions and the Right to Philosophy.
Rowman&Littlefield Publishers, INC. Lanham/Boulder/New York/
Oxford
Paul de Man. The Resistance to Theory. Theory and History of Literature,
Volume 33
Paul de Man. Aesthetic Ideology. Theory and History of Literature,
Volume 65.
University of Minnesota Press. Minneapolis/London
Roland Barthes. Writing Degree Zero & Elements of Semiology.
Jonathan Cape/Thirty Bedford Square/London
Claude Levi-Strauss. The Savage Mind. The University of Chicago
press
Claude Levi-Strauss. The Raw and the Cooked. Introduction to a Science
of Mythology: I
Happcr&Row, Publishers. New York and Evanston
Lucien Levy-Bruhl. How Natives Think. Princeton University Press

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

Леонид Бердичевский

Игорь Гуревич

Нора Гайдукова

Олег Никогосян

Альфред Ходорковский

Давид Яновский

ЛЕОНИД БЕРДИЧЕВСКИЙ

С английского

ЭДГАР АЛЛАН ПО

КРАЙ ТРЕВОГИ

(маленькая баллада)

Был этот край – хранитель тайн –
Давным-давно необитаем.
Живые смертью смещены –
Добычей мора и войны.
Лишь ночью звёзды, как укор,
Исправно здесь несут дозор.
И днём небесный яркий свет
Безмолвию свой шлёт привет.

Но нынче даже он ушёл –
Устал иль был на что-то зол.
Сам воздух вроде замер здесь.
Сон сторожит дурную весть.
Стволы качаются едва
И в судороге вся листва.
Лишь ветер, злобно просвистев,
Свой краю подарил напев.

И ветра нрав в плену оков,
Сбивает ритм облаков,
Да с голых молчаливых скал
Торопит валунов обвал.
Притихшую больную степь
Фиалок обрамляет цепь...

Пронзительнее, чем слова,
Как безутешная вдова,
Чтоб выразить свою печаль,
Роняет лилия хрусталь,
Что брызжет у неё из глаз,
Из года в года, из часа в час,
Пока дух жизни не угас.

К ОСТРОВУ ЗАНТА

О, Занта! В честь прекрасного цветка
Ты назван гиацинтом несравненным.
Ты звёзды зажигаешь вдохновенно
И память о тебе всегда легка.

Что плыло раньше в веренице лет,
Затеряно навеки, без возврата:
Лиц радостных, желанных больше нет.
В них время беспощадно виновато...
Всё минуло, – его мне не вернуть.
Тебя по-прежнему ласкают воды.
Всё минуло, но сохранилась суть
Того, что было в канувшие годы...
Ты также в островах цветущем банте.
«Isola d'oro! Fior di Levante!»

* * *

С французского

ВИКТОР ГЮГО

К траве высокой на большой поляне
Я подошёл к сидящей грустно Жанне.
Спросил её: «Чего бы ты хотела?
Лишь прикажи и я возьмусь за дело».

Потупив взор она сказала тихо:
«Зверьё люблю – тигрицу и слониху».
Я отвечал: «Взгляни, вот муравей,
Кто может быть подвижней и милей?»

«Зверей люблю я шумную ораву,
Прибоя шум и плеск волны кудрявой, –
Мне звуки эти по сердцу, как пенье,
Я их готова слушать с наслажденьем!»

«Но где найти слонов мис или тигров? –
Проси другое – брось ты эти игры,
Я всё тебе достану, непременно:
Плеск волн, прибоя шум, морскую пену!»

«Достань луну, – промолвила шалунья, –
хочу её обнять я в полнолуние».

УТРО

На горы утренний туман упал
И солнце луч направило на башню.
Из церкви по лесам поплыл хорал
И звук его, торжественно-протяжный,
Уходит в небо, как в концертный зал.

А завтра здесь тебя уложат в гроб.
И солнце станет украшеньем неба.
И, несмотря на смертный твой озноб,
Природа не всплакнёт и птичий щебет
Не смолкнет, лишь усилится взхлѐб.

Твоя душа пробудится от сна.
Из высоты небесного обзора,
Суть прошлого ей станет вдруг ясна,
Уйдёт из жизни, как по приговору, –
Из ночи к вечности возвращена.

ДЕТСТВО

Ребѐнок громко пел. Мать в забытии лежала.
Белей подушки был её прекрасный лоб.
Смерть на неё своё нацеливала жало,
Смерть с песней пополам: тяжѐлый бил озноб.

А голос малыша был непомерно звонок.
Веселья своего не мог он превозмочь.
Играл и хохотал – не понимал ребѐнок,
Как задыхалась мать и кашляла всю ночь.

Под утро мать ушла, приняв объятья смерти.
И был её уход мучителен и строг.
Ребѐнок громко пел и хохотал. Поверьте,
Его остановить не смог бы даже Бог.

С польского

ВИСЛАВА ШИМБОРСКА

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Вселенную заполонил собою мир:
Вода и суша – реки и долины.
Рыдания и смех разрезали эфир –
И список разного
довольно длинный.
Как всё расположить?
Где место всем найти? –
Хлопотам, роскоши, переполоху.
Собрать в единое всё это ассорти,
Не растеряв, не уронив ни крохи.
Не знаю ничего об их цене.

(Ведь звёзды обещениться успели!)
Закаты солнца – как их жалко мне.
Я с остальным согласна еле-еле...
Заботу сохраняю о каждом стебельке.
Поспешно соберу я всё в котомку.
Весь мир зажму покрепче в кулаке –
Не раздавить бы –
хрупкий он и ломкий.
Мгновенье мне дано,
Но как успеть.
Ведь жизнь одно –
скользящее мгновенье.
Заметить сразу всё
И обо всём пропеть.
Найти один ответ мне
В день рожденья.

ДВЕ ОБЕЗЬЯНЫ БРЕЙГЕЛЯ

Во сне сдаю экзамен я на зрелость:
Вот на цепи в окне две обезьяны.
Летает небо,
проявляя смелость.
Шатается волна
по морю спяну...
Экзамен по истории привычный.
Я заикаюсь,
путаюсь и брежу.
Одна зверушка смотрит иронично.
Другая вроде спит,
сомкнувши вежды...
Но наступает пауза в ответе...
Она в окно вцепилась очень цепко
и для того, чтоб я её заметил,
подсказывает мне звенящей цепью.

ТЕНЬ

Тень за спиной королевы, как шут.
Но королева поднимется с кресла.
Будто шута вдруг на стену зовут
И об неё головою он треснет.

Хоть и почувствует острую боль
И неудобство в пространстве двухмерном
Он пожелает сыграть свою роль, –
Справится с нею свободно, наверно.

Вниз королева во дворик глядит.
Шут совершает прыжок добровольно.
Судьбы их время теперь разрешит –
При этом останутся оба довольны.

Вот результат, – как его не итожь:
То, как мечтал я приблизиться к трону
Шут получил: пафос, жесты и дрожь,
Мантию, жезл – даже корону..

Будь бы я легче в движении плеч,
Свободней слегка в головы повороте,
ты б на прощанье услышала речь,
Что на вокзале не слышали вроде...

Я знаю, что шут ничего ей не скажет,
Лишь рельсы обнимет в шутейном он раже...

ИГОРЬ ГУРЕВИЧ

С немецкого

РОЗА АУСЛЕНДЕР

ВОСПОМИНАНИЕ

Нам свет не положен.
Одна темнота.
Они так решили,
чтоб не было света.
Расстреляны звёзды.
Убита луна.
Не будет, не будет
на свете рассвета.

Их чёрное знамя,
хлопок пистолета, —
вот всё, что осталось
в неволе у нас.
Затмение солнца!
Оно бесконечно.
Что мы пережили,
то живо сейчас...

Да, мы одолели
своё погребенье, —
не солнца,
а целого мира
затмение.

ПИСЬМО

Мой друг,
ты стал ошибкой
многих писем,
игрой в непостоянство
многоликой.

Ах, отчего
Мы от неё зависим?
Молчит строка моя
многоязыко...

Пусть будет так:
Ты вечным
пилигримом
уйдешь искать
неведомое счастье,
А я – до смерти
помнить о любимом,
не давшем мне
подобия участия.

ЕЩЁ ТЫ ЗДЕСЬ...

Ещё ты здесь.
Отбрось свой страх.
И время есть,
и на устах
ещё звучат
слова времён.
Крутой восходит
небосклон.
И над травой,
и над тобой,
и над ушедшей в ничего
твоей несбывшейся
мечтой...
Ещё дыханием гвоздик
и песней
перелётных птиц
разрешено ещё нам быть.
И можем мы ещё любить.

Так будь таким,
какой ты есть.
Дай мне себя
пока ты здесь.

ДОРОГИ

Дороги стремятся уйти,
и слово моё в пути...
Вверху оно плачет,
внизу, в волшебном
далёком лесу,
уходит наискосок,
словно вода в песок...

И звёздные наши пути
помогут,
быть может, найти,
друг друга
в тенях ночных,
в которых
много других
добрых людей,
но чужих.

Но свет
одевает тебя
в тёплые тени снов,
я знаю, что ты –
судьба, –
гремят
камнепады слов.

Дороги стремятся уйти,
как в них мне тебя найти?

ДИАЛОГ

Бесконечен диалог
среди жизненных дорог.

Ты
и звёзды, и цветы.
Ты мой близкий человек –
проблеск
искорки мечты.
Ты
и твой короткий век.
Ты
и нищий, и король.
Обнажённый
и в одежде.
Ты – восторг мой,
свет и боль,
и обманы, и надежды...

Бесконечен диалог
среди множества дорог...

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Расстаться, уйти
и вернуться назад,
и праздновать
радость возврата.
и людям, животным
себя отдавать,
и вечно быть
жизнью объятай.
Любить, забывать
и к любви возвращаться, —
не в этом ли жизни
короткое счастье?

ОДИНОЧЕСТВО

Сбылось
цыганки пророчество:
«Без родины ты
и без отчества,
будешь повсюду чужою,
сама говорить с собою.

Людей тебе дорогих терять.
Во снах своих не видеть,
не знать, и не вспоминать,
кем прежде стремилась
стать.

Ты будешь слова говорить,
не открывая рта.
И не ответят на них
чужие тебе уста.

И будет твоё Одиночество, —
тебе самый преданный друг.
Сбылось цыганки пророчество,
замкнулся
мой жизненный круг.

Ящерица юркая,
очень симпатичная,
под ногой мслыкнула.
Видно, непривычно ей
под моей столою
меж камней бежать!
Пусть живёт на воле,
мне ль её топтать?

По камням-булыжникам
путь её пролёт.
Не далёк, не близок он –
камни да песок.
Я вернусь, не ведаю,
из своих дорог?

До родного дома
доберусь ли в срок?
Он откроет снова
двери мне свои
и приветит словом
тихим: «Отдохни!»

ДАВИД ЯНОВСКИЙ

С немецкого

ЮРЕК БЕККЕР (1937 – 1997)

Писатель и сценарист. Жил в Берлине.

МОЁ ЕВРЕЙСТВО

Когда меня спрашивали о моём роде и племени, я обычно отвечал: «Мои родители были евреи».

Я использовал это выражение как точную формулировку, которая даёт информацию с исчерпывающей ясностью. Если спрашивающий констатировал: «Значит, вы еврей», я поправлял его, повторяя свою формулировку: «Мои родители были евреи». Разница кажется мне в каком-то смысле очень важной, хотя я никогда не делал её ни предметом разговора, ни предметом рассуждений, которые стоит подробно излагать.

Вместе с тем, то обстоятельство, что я родился в еврейской семье, имело для моей предыдущей жизни тяжёлые последствия. Когда мне было два года, я и мои родители были обитателями гетто в Лодзи, городе, где я родился. Затем последовало пребывание в концлагерях Равенсбрюк и Заксенхаузен. Когда война кончилась, из всей моей огромной семьи остались только трое: мой отец, я и одна тётка, которую я не помню, потому что ей удалось сразу после вторжения немцев бежать из Польши, кажется, Америку.

Мой отец, который в конце войны находился в другом концлагере, искал меня и нашёл с помощью американской организации помощи узникам концлагерей. В сущности, для меня только с этого времени существуют отчётливые реальные воспоминания. Мне тогда было уже семь лет, почти восемь.

От других людей я знаю, что их детские воспоминания уходят в прошлое намного дальше, чем мои. Я потратил много времени на то, чтобы найти причину этого различия. И вот мои выводы:

Во-первых, странно позднее начало моих воспоминаний должно быть в какой-то мере связано с вытеснением. Защитный механизм, существование которого, пожалуй, является счастьем, отделил меня от тяжёлого времени и некоторым образом защитил меня от него. Во-вторых, думаю, нечего было и вспоминать. Дни в лагере были безотрадны и неразличимы. Вероятно, всё, что тогда происходило, казалось мне, тогдашнему, не стоящим того, чтобы сохранить это в памяти. Эти обстоятельства стёрли из моей памяти время до освобождения.

Когда война кончилась, отец остался со мной в Берлине по причинам, о которых я мог только догадываться. Он никогда не хотел говорить об этом со мной. Но не так, как человек, который не хочет разболтать тайну, а скорее, как человек, который избегает вопроса, на который сам

не знает ответа. Я думаю, он в войну потерял родину, поскольку родина в первую очередь — не страна, а люди — родственники, друзья, знакомые. А их больше не было, они были мертвы, в лучшем случае пропали без следа. Поэтому мой отец руководствовался принципом, что тому, кого никуда не тянет, лучше всего оставаться там, где он находится сейчас. Только на один единственный повод для того, чтобы остаться здесь, он мне намекнул. Не прямо, но так, что я со временем понял. Он считал, что в его прежнем окружении, в Польше, антисемитизм появился задолго до прихода немцев. И чем меньше там будет евреев, тем больше вероятность, что их жизнь сделают невыносимой. Однажды он сказал: «В конце концов это не польские антисемиты проиграли войну». Он надеялся, что дискриминация евреев будет наиболее полно ликвидирована как раз там, где она приняла самые ужасные формы. И перед смертью в 1972 году он был убежден, что, по крайней мере, в этом пункте он не ошибался. Однажды он сказал: «Неужели ты думаешь, что если бы не антисемитизм, я хоть секунду чувствовал бы себя евреем?» Мой отец с самого начала очень упорно избегал разговоров со мной о прошлом. Я никогда не узнал: то ли он охранял свой покой от прошлого, то ли он хотел защитить меня от того страшного времени. Но какую бы из этих двух целей он не ставил перед собой, он её не достиг. В синагогу мой отец ходил редко и только для того, чтобы встретиться с парой знакомых. Меня он с собой не брал даже тогда, когда я его об этом просил.

Таким образом, получилось, что я никогда не был в синагоге. То есть я был там много лет спустя вместе со своим режиссёром, с которым я подготавливал фильм. Мы хотели посмотреть, как идёт служба в синагоге, чтобы не допустить грубых ошибок в изображении еврейского ритуала.

Мне ясно, что такое положение вещей говорит о довольно напряжённых отношениях, и причина, конечно, не в синагоге, а во мне.

Общества или знакомства с евреями я никогда не искал и не избегал. Был ли человек, с которым я имел дело, евреем или нет, я узнавал только случайно. Если кто-то действительно обращал моё внимание на это, мне всегда приходил в голову вопрос: «Зачем он мне это говорит?». Пожалуй, это меня даже несколько неприятно поражало. Потому что мне казалось, что этот человек ожидал от меня, что я после установления его еврейства стану к нему относиться по-другому, не так как обычно. Я хорошо понимаю, что так чувствовать может только тот, для кого принадлежность к группе людей, которая называется «евреи», — дело добровольное, вопрос, который можно решить. Противники такого взгляда могут относиться к прямо противоположным направлениям: к верующим, как сионисты, и к оголтелым антисемитам, как, например, авторы расового законодательства Третьего рейха, которые никому не предоставляли права решать быть евреем или нет. До сего дня я не знаю, какие признаки делают человека евреем. Потому что все признаки кажутся мне совершенно произвольными, с одним единственным

исключением: этот человек хочет быть евреем.

Я могу стать христианином и могу потом перестать быть им. Я могу также, если долго и упорно буду этим заниматься, перестать быть итальянцем, русским или американцем. Почему же перед тем, кто хочет покинуть еврейство, должны стоять барьеры, непреодолимые, как законы природы? В это я не только не могу поверить, но и считаю такие ограничения опасными и чудовищными. Я уделяю этой проблеме так много места, волнуясь, полемизирую и даже становлюсь под конец агрессивным потому, что слишком часто другие решали за меня, какой я и кто я, в том числе и еврей. Я это воспринимаю, как насилие, как напоминание о долге, который я на себя никогда не брал. И если бы я даже был бы готов рассчитаться, то не знаю чем. Как вести себя, если ты еврей? Когда мне говорят: «Не волнуйся по этому поводу, просто делай то, что ты считаешь правильным» — это меня успокаивает, но только вначале. Потому что потом мне начинает казаться, что тот, кто просто причислен к евреям, должен только лишь служить тому, чтобы увеличить собой сумму, которая для него ничего не значит. И это мне кажется неправильным. Но это только одна сторона дела. Я знаю, что каждый не только тот, кем себя считает, но что, хочет он того или нет, он также тот, кем его считают другие. И это большое несчастье. С этой точки зрения я, чёрт побери, тот, кем меня удобно считать многим: евреям. Из сказанного становится более или менее ясно, что для меня не значит моё еврейство.

Ни в коем случае не чувствую принадлежности к религиозной общности. Мне, атеисту, еврейская религия не кажется более разумной, чем любая другая, и знакомство с нею, допустим, лишь поверхностное, — ни на шаг не приблизило меня к озарению. Правда, с одной точки зрения, которую можно назвать литературной, она мне кажется более удачной и убедительной, чем, к примеру, христианская. Моё еврейство не имеет также следствием чувство радости принадлежать, вольно или невольно, к широко разветвлённой группе людей, которая, по сравнению с другими группами примерно такой же величины, добилась выдающихся достижений, достойных восхищения, и прискорбных. Я несколько не горжусь тем, что Кафка был евреем, хотя его творчество имело для меня решающее значение. Меня не огорчает то, что Макс Фриш не еврей, хотя он для меня значит столько же.

Я не могу определить, какое влияние на меня имели и какие творческие импульсы мне дали лица, для которых их еврейство имело большое значение или даже было центром их жизни. В том, что такие влияния и импульсы были, я не сомневаюсь. Но я считаю бесполезной попытку изменить и определить их соотношение с другими влияниями и импульсами. Наверное, это было бы хуже, чем бесполезно, это было бы вредно.

Однажды, помню, к нам приехал гость из заграницы. Мне тогда было около одиннадцати лет. Мой отец представил меня бородатому и лысому старому мужчине, у которого на голове была маленькая круг-

лая шапочка, какой раньше я никогда не видел. Отец назвал моё имя и я протянул мужчине руку. Но он стоял неподвижно, долго смотрел на меня и слегка качал при этом головой, как будто не мог что-то понять. Потом он схватил меня — при этом я на мгновение почувствовал страх и напрягся — и заключил меня в свои объятия. Я повернул голову к отцу, потому что растерялся и не знал как себя вести. Отец поднял руку и успокоил меня, жестом дав понять, что я не должен сопротивляться тому, что происходит и что всё будет в порядке. И так я стоял тихо и ждал, когда меня отпустят. Потом я заметил, что мужчина плачет, прижимая меня к себе всё сильнее. Я посмотрел вверх, потому что его тело дрожало. Его глаза были закрыты и слёзы текли по его лицу, исчезая в бороде. Мне стоило больших усилий не заплакать самому. Я помню, что мне очень хотелось утешить его, но я не знал как. Так мы стояли некоторое время, мне оно показалось бесконечно долгим. Я больше не поворачивался к отцу, я мог бы стоять так неподвижно целый час. Потом мужчина отпустил меня, пробормотал что-то и вышел из комнаты. Мы молчали, пока он не вернулся из ванной. Он попросился, как человек, которому внезапно понадобилось уйти. На меня он больше не смотрел. Я спросил отца, почему этот мужчина так плакал. Отец ответил, что я этого не пойму. Я подумал, что это была отговорка и что отец сам этого не знал. Теперь я так не думаю.

Я больше не видел этого человека. Мы с ним не сказали ни единого слова, но я не могу его забыть. Всякий раз, когда звучит слово «еврей» не для того, чтобы обозначить конкретного человека, а как абсолютно общее определение, я думаю об этом человеке. Он стал для меня своего рода символом, как бы неслепо и непонятно это ни звучало для тех, кого он никогда не обнимал и кто никогда не видел его плачущим. Каким-то образом я почувствовал, что его потрясение не имело ничего общего ни со мной лично, ни с ним лично, что в нём вообще не было ничего личного. Я почувствовал связь этого человека с чем-то, что находилось совершенно вне его и что было для него значительно важнее всего остального. И если я и не в состоянии даже частично следовать за ним по этому пути, я всё же благодаря ему получил что-то вроде вести о том, что такой путь существует и как много он значит для некоторых людей.

Наверное, правда, что чувство взаимосвязи группы людей проявляется особенно сильно там, где эта группа подвергается нападкам. Каждый, кто в таких обстоятельствах заявляет, что он больше не хочет принадлежать к этой группе, легко приобретает репутацию дезертира, труса или эгоиста. И наоборот, если вокруг царит покой и существованию группы ничего не угрожает, может случиться так, что она тихо и незаметно уменьшится. Диалектика работает.

В том окружении, в котором я вырос, не было никаких нападков на группу евреев. По крайней мере таких, которые я мог заметить. Мы знаем людей, которые считают антисемитизмом любое упоминание об их недостатках. Так же, как мы знаем правительства, которые считали

антисоциалистическими любыми упоминаниями о своих недостатках. Надо этого остерегаться.

Я хочу только сказать, что если бы евреи моего детства были вынуждены объединиться и защищаться, я бы совершенно естественным образом вырос в их общество. А может быть, я отделился бы от них. Это другой вариант гипотезы. Но у меня, как сказано, не было никаких причин отделяться. Не было также никаких связей, которые надо было порвать, никаких обычаев, от которых надо было отречься, никаких традиций, которые поставили бы меня перед выбором: принять их или отклонить. Для того чтобы стать евреем, мне пришлось бы потрудиться самому. Но рядом не было никого, кто повёл бы меня по этой дороге, а сам я по ней не пошёл. Плохо это или хорошо, но я этого не сделал.

Думаю, что вообще традиции для меня значат мало. В большинстве случаев, когда я соблюдал традиции, мне это мешало.

Некоторое время, совсем ещё молодым человеком, я хотел играть в кегли. Я был принят в союз любителей и это доставило мне большую радость. До тех пор, пока я не увидел, что игроки после игры садятся в кегельбане за столы, пьют пиво и поют, как будто эта процедура неотделима от игры в кегли, и я, если хочу быть принятым в их среду, не могу от этого отказаться. Я ясно видел, что некоторые играли только ради пива и пения.

О влияниях, которые я сознаю, я могу говорить, о тех, которые я не знаю, — нет. Но они могут существовать.

Когда вышла в свет моя книга «Яков лжёт», некоторые рецензенты написали, что она написана в традиции рассказов Шолом - Алейхема и Исаака Башевиса Зингера. Дело, однако, в том, что я впервые прочёл Шолом - Алейхема после того, как посмотрел мюзикл «Скрипач на крыше», спустя некоторое время после того, как я написал книгу. А из Зингера я не прочёл до сих пор ни строчки. Я могу себе представить, что после этого сообщения кто-то воскликнет: «Видишь, так оно и есть! Это то еврейство в тебе, что справедливо увидели критики. И независимо от того, осознаёшь ты это родство или нет, признаёшь ты его или отрицаешь, — оно есть. Ты не можешь ему противиться, как не можешь противиться тому, что низ находится внизу, а синий цвет — синий!»

Я допускаю, что я ошибался в таком важном вопросе, это было бы не в первый раз. Я допускаю, что я недооценил влияния, которые были очень важными, что я не видел связей, которые были явными: я не чувствовал себя евреем, но тем не менее в сотнях отношений был им. Ну и что?

Зачем, спрашиваю я себя, я должен стараться обязательно разгадать эту загадку? Стану я от этого умнее? Боюсь, что нет. Боюсь, что буду напрасно пытаться раскрыть тайну, без которой моя жизнь станет беднее.

АЛЬФРЕД ХОДОРКОВСКИЙ

С немецкого

ВИЛЬГЕЛЬМ БУШ

КРОВЬ

Как тот больной, кого температура
Лишает сна ночного и покоя.
Не помогают горькие микстуры,
И он не знает, что же с ним такое, —

Так этот мир. Не может совершенно
И дня прожить без злобы и врагов.
Во всех его артериях и венах
Неистовствует бешеная кровь.

НЕ СМЕЙСЯ

Не смейся, если всё ж с годами
И дружба, и любовь проходят,
Что с юной девой происходит.
Не может повториться с нами.

Гляди, как изменился, право,
Наш кухонный трудяга-веник.
Он мягким был, но, к огорчению,
Теперь стал жёстким и шершавым.

НЕ ТАК

Вокруг вождя рая стена —
Из мраморных глыб возвышалась она.
И Каин подумал, известный хитрец:
— Тсперь-го я в рай попаду наконец.

На стену по лестнице Каин полз.
Внезапно явившись, услужливый бес
Ему преподнёс неприятный сюрприз:
Он с лестницей вместе швырнул его вниз.

Всё это случайно увидел Адам.
— Проказник! — вскричал он. — Останешься там!
Досталось тебе? Так запомни и знай:
Легко никому не достанется рай.

КНИГА ЖИЗНИ

Пенависть — ты минус и тшета,
Жизнь твои проделки не прославит.
Лишь любовь, священна и чиста,
В Книгу жизни пписана по праву.
Вам достался минус или плюс —
Я судить об этом не берусь.

ОЛЕГ НИКОГОСЯН

С армянского

ПАРУЙР СЕВАК

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

Не надо, любимая,
Клясться зазря.

Я верю и так,
что долгим веком тянется день.
Ночами не спишь ты, маясь тоской, –
вслух имя моё повторяя;
И на девичьей белой подушке своей
примечен тобой орла силуэт
(Будь хоть ворон орлом мерещится);
Что больше ничто тебя не волнует,
Что без моей любви жизнь твоя пропаща,
Что...

Знаю, джана моя,
И клясться не надо.
Но знаю и то,
Что тебе непомёк:

Первая любовь, несмотря ни на что,
Словно хлеб – также комом выходит.

РУК ПРОЛИВ

Наши руки соединились,
Лишь две руки.
Но как будто
Не руками нашими были,
А... только проливом.
Мы друг в друге смешались,
Словно два моря соседних,
Разделённые долго...

ПОСЛЕДНЕЕ УТЕШЕНИЕ

Ты плачешь от боли,
Мной причинённой.
Меня от стыда бросает
в пот, жарко-холодный.
Что теперь говорить?..
Утешься хоть тем,
Что на вкус одинаковы
Слёзы и пот...

МИГ ВНУШЕНИЯ

Одновременна и многолюдна,
И беззвучна моя душа.

Так

Бывает только в немом кино
И... в музее.

ЗАЗНАЮСЬ НА МИНУТУ

Ах, как просто в мире жить, –
Как и все, со всеми.
Спать почками, не тужить, –
Как и все, со всеми.
Регулярно есть и пить, –
Как и все, со всеми.
Беззаботно согрешить, –
Как и все, со всеми.
Не задумываться впрок, –
Как и все, со всеми.
Жизнь пустить на самотёк, –
Как и все, со всеми.

ИСКУССТВО

Ветер выводит мелодию,
Под стать самому Бетховену.
Горизонт растекается бархатным марсвом –
Новоявленным полотном Рембрандта.
Жизнь над Шекспиром смеётся
Масштабами трагедийных судеб...
А мы с тобою... играем в искусство
Да так упоённо, –
Что завидно даже героям Сервантеса.

НОРА ГАЙДУКОВА

С немецкого

КУРТ ТУХОЛЬСКИЙ

ТАЙНА

*Когда я был молод, с японцем одним повстречался
Болтали мы с ним о привычках, жаргоне матросов
Вдруг он обронил это слово короткое «СКУБИ».*

Что значить могло бы, дружище,
Спросил я как можно любезней,
Мне слышать ещё не случалось
Подобное чудное «Скуби».

Что это – порок ли, игра ли?
Матросы с ним тоже знакомы?
С чем делают? Это приятно?
Где можно попробовать Скуби?

Ах, вежливый этот японец!
С загадочною улыбкой
Пронзил меня ядом безумья.

Скуби, Скуби щебечут птички.
Клаксоны сигналият всем Скуби.
Вагоны трамвая, качаясь, –
Всё Скуби, да Скуби, да Скуби.
Подпольная мышь пропишала
Своё одинокое Скуби,
И даже в сиянии солнца
Мне видится вечное Скуби.

Печально я плёлся по жизни.
Морями я разными плавал.
И с чайками я подружился.
С питанием класса второго.

Но мне не мила Палестина,
И Индии я не увидел,
Не смог я увидеть Китая,

Бомбей и Калькутта мелькнули.
Исчез Порт Саид, Крыша Мира.
Голодным повсюду скитаюсь...

В Японии вот, наконец, я.
За фалды хватаю прохожих,
кричу в нетерпении: «Послушай!
Не скажешь ли мне, драгоценный,
Что есть за штуковина Скуби?»

Но мне хладнокровный японец,
Тактично и тихо ответил:
«Не спрашивай. Это такое...»
Ах, Скуби, да Скуби, да Скуби...

Вернулся домой стариком я.
Мне место теперь в богадельне
А всё потому, что не знал я,
Значения этого «Скуби»!..

*Суккубы (Скуби) – женские духи,
преследующие сексуально озабоченных
мужчин и юношей («Ваша Карма». 2004)*

НОРБЕРТ ЭЛИАС

ОТЕЦ

Родители снова сидят за столом
И глухи к призывам детей:
Хотим идти на прогулку скорей, –
Там будет летающий змей.

Часов монотонен и тягостен звон –
Они без конца повторяют
О том, что дни наши тают.
Они бормочут нам свой приговор.
Часы – это времени вор.

Отец снял цилиндр,
Приветствуя смерть.
В ответ она дерзко хохочет.
То за угол спрячется, то убегит.
Открыться не хочет, когда её ждать.
И сразу берётся цилиндр примерять.

РАЗНОЦВЕТНЫЕ ДРАКОНЫ

Мы вам отвесим низкий поклон,
Так нас учили. И на свободу
Рванёмся скорее.
Сквозь двери забытые,
Через решётки,
Кусты можжевельника,
На луг в цветущих ромашках,
Окружённый стволами белых берёз.

Затеваем игру в ловлю ящериц
И человечков подземных,
Что нам морковку приносят.
Драконы становятся вновь ручными
И заполняют небо.
Их выше и выше относит ветер
Зелёно-чешуйчатых,
Ало-багряных,
Как языки прозрачно-жёлтого пламени.
Они на ветру на нитках качаются, –
И припадают к Земле,
Тогда исчезают Страхи.

АННА

Крошечные улитки
Переползают дюны.
Коровы так терпеливы,
Мирно траву жуют.

Воздух пронизан солнцем.
Не убегай, послушай,
Тёплый песок так мягок,
Опустимся на него.

Ветер лукаво шепчет:
«Сюда не придёт никто!..»

Что у тебя под блузкой? –
Дай мне тепла немного,
Что на груди твоей, Анна.
Ведь кожа твоя нежна,
Как тонкий речной песок...

Почувствуй меня немного,
Я смуглее тебя и грубее...
О чём ты мечтаешь, Анна,
Когда смеёшься над тем?

Когда сердце твоё так бьётся,
Оно издаёт тепло...
Спокойно, не озирайся,
Сюда не придёт никто!..

Возможно, Бог Страху бродит
Один по голому полю.
Так его представляют,
Чтоб научиться Страху.

Ты хочешь встать почему-то,
Стучит быстрее твоё сердце,
Ко мне иди и не бойся...

Песок, какой же он мягкий.
Тёплые губы близко,
Времени больше нет!..
Мертвы в этом мире часы.

Впервые литературный альманах
«До и после» выходит без

АННЫ ОСМОЛОВСКОЙ.

Она ушла из жизни 13 марта 2005 года.

Наш друг и коллега, поэт и прозаик,
Анечка, стояла у истоков создания аль-
манаха. Ее деликатные, ненавязчивые
рекомендации и советы часто помогали
авторам найти правильный подход при
подготовке своих произведений к печати.

Её мягкий, общительный характер, неповторимая улыбка и
доброжелательность останутся с нами всегда.

Земля Тебе пухом!

Вечный покой, дорогая Анечка.

Коллектив авторов альманаха.



АННА ОСМОЛОВСКАЯ

16.05.1937-13.03.2005

«ЕВА»

(На выставке женского портрета)

*Отрывки из поэмы, опубликованной
в первом альманахе «До и после», Берлин, 1997*

Средь тысяч ликом во вселенной
Мелькнёт и скроется мгновенно
Мой неприметный женский лик.
И ни следа. И ни улик...

Прекрасна жизнь!
Мгновенья эти –
Вместилище тысячелетий.
Бесценный дар судьбы и бога.
И вдруг... Прочтенье некролога.

Быть изгнанной с людского пира,
Лишиться осознания мира?!...
Такое – мне не всё равно.
Но...

Утешенье есть одно:
Я – Евы плоть.
Из Евы чрева я рождена.
Бессмертна Ева.
А смерть её – лишь обновленье
И в новом облике явленье.

* * *

Какое мудрое явленье:
Старенье, смерть и обновленье.
Вот только грусть чуть-чуть берёт,
Ведь скоро уж и мой черёд.

Но время – вечное движенье,
Как замкнутость, как кривизна.
И повторится искушенье,
Улыбка, кожи белизна,
И повторится ожиданье
Любви и верного свиданья.

В номере

1. ПОЭЗИЯ И ПРОЗА.

Карл Абрагам.....	4
Генриетта Ляховицкая.....	11
Михаил Верник.....	19
Давид Яновский.....	32
Марлен Глинкин.....	36
Григорий Вахлис.....	46
Леонид Бердичевский.....	49
Анжелла Подольская.....	54
Наталья Горбатюк.....	63
Генрих Шмеркин.....	65
Любовь Рейнгач.....	68
Ася Процко.....	72
Феликс Зигельбаум.....	74
Станислав Львович.....	77
Альфред Ходорковский.....	81
Михаил Эненштейн.....	89
Кирилл Романовский.....	102
Дмитрий Белялов.....	105
Нора Гайдукова.....	108
Анна Мелихова.....	111
Валерий Матэцкий.....	114
Марк Шейнбаум.....	117
Евгений Денисов.....	122
Маргарита Их.....	125
Семён Лурье.....	129
Виктор Гордеев.....	133
Михаил Хасин.....	134
Марина Авсрбух.....	136
Олег Никогосян.....	139
Георгий Хлусевич.....	141
Михаил Левин.....	147

2. ПУБЛИЦИСТИКА. ЭССЕИСТИКА.

Алесь Эротич.....	150
Генриетта Ляховицкая.....	157
Марлен Глинкин.....	163
Марк Шейнбаум.....	165
Карл Абрагам.....	174
Леонид Бердичевский.....	182
Яна Кутин. Андре Бройдо.....	186

3. НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

Леонид Бердичевский.....	203
Игорь Гуревич.....	208
Давид Яновский.....	213
Альфред Ходорковский.....	218
Олег Никогосян.....	219
Нора Айдукова.....	221
Памяти Анны Осмоловской.....	225



ЛИТЕРА- ТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ



До ^и После

№ 9



Берлин • 2005